

ЕВГЕНИЙ МАНСУРОВ

ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА



**ВНЕВРЕМЕННАЯ
РОДОСЛОВНАЯ ТАЛАНТА**

Евгений Мансуров

**Психология творчества.
Вневременная
родословная таланта**

«Алисторус»

2014

УДК 087.5
ББК 84

Мансуров Е. А.

Психология творчества. Вневременная родословная таланта /
Е. А. Мансуров — «Алисторус», 2014

Е. Мансуров, автор популярной книги «Загадка Фишера», много лет освещал в СМИ историю компьютерных шахмат и однажды задался вопросом: «Может ли быть создан искусственный интеллект?». Ответ пришел через изучение другого вопроса: «А что есть интеллект природный, его способность к творчеству?» Так появилась новая книга, раскрывающая тайну творчества. Перед вами – обстоятельные экскурсии в историю развития интеллектуальной жизни человечества, своего рода коллекция исторических примеров, могущих повлиять на развитие внутренних талантов вдумчивых читателей.

УДК 087.5

ББК 84

© Мансуров Е. А., 2014
© Алисторус, 2014

Содержание

От автора. Размышление первое...	5
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Евгений Мансуров

Психология творчества: временная родословная таланта

*Автор благодарит Ольгу Максимэн и Анну Иванову
за помощь в издании книги*

От автора. Размышление первое...

Взглянув на печальную «пирамиду не-творчества» (см. подробнее: Е. Мансуров «Психология творчества: Вневременная родословная таланта. Пирамида не-творчества») приходится констатировать, что история становления людей талантливых справедлива еще меньше, чем посмертная слава их произведений: нищета в быту, интриги завистников, гонения приверженцев старых догм, остракизмы «общественного мнения», тюрьмы, казни, самоубийства. Не очень-то обнадеживает и перспектива их посмертных скитаний, с отказом в погребении (Ж.-Б. Мольер, А. Лекуврер, Н. Паганини), с осквернением могилы (М. Нострадамус, О. Кромвель), с похищением гроба (Ч. Чаплин), с разграблением останков (Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо, Й. Гайдн, Н. Гоголь) и последующей «инвентаризацией» черепа и костей (А. Данте, Р. Санти, Р. Декарт).

Дабы избежать нездорового интереса к их «гниющей персти», многие великие предпочли после смерти кремацию и в завещаниях своих распорядились: развеять прах над лесом (Р. Музиль), над полем (К. Симонов), над холмами графства (Дж. Голсуорси), над поместьем, в котором жили (Э. Гарднер, Г. Грант, Э. Марроу, Дж. О'Кифф, Б. Поттер), над островом (М. Брандо), над рекой (М. Ганди, И. Ганди, Д. Энлай, Б. Кессиди), над морем (У. Каллас, Ю. Семенов), над проливом (И. Бергман), над океаном (А. Хичкок, С. МакКуин, Р. Оппенгеймер, Р. Хаббард, Р. Хадсон, У. Холден, У. Эббот); опустить урну с прахом в реку (А. Эйнштейн), в море (Ф. Энгельс, Ж. Габен, В. Гуффри); тайно захоронить в саду (Б. Шоу, О. Уэллс) или перед стенами крематория (Ш. О'Кейси, А. Тьюринг, Р. Франклин). Они словно тяготились грузом «мемориальной» памяти, предписывающей вспоминать их по ритуалу как точно «здесь» и в дни годовщин «всегда».

Еще при жизни, и без завещания, китайский философ Лао-Цзы (604–517 до н. э.) хотел «существовать вне времени». Покидая родину и в добровольном изгнании убегая от рода человеческого, он оставил на пограничном посту «послание о Дао де Дзин» – 5000 слов нового учения о путях добродетели. Меньше всего его заботили авторские права или суд потомков. «Он хотел исчезнуть и даже не оставить своего имени», – комментирует китайский историк. По странному сближению казалось бы разнородных событий, не имеющих ничего общего в своем первоисточнике, Ф.М. Достоевский в «Дневнике писателя» за май-октябрь 1876 года (Россия) писал: «Тут слышится душа именно возмущившаяся против «прямолинейности» явлений, не вынесшая этой прямолинейности... судьи и отрицатели жизни, негодующие на «глупость» появления человека на земле, на бестолковую случайность этого появления, на тиранию косной причины, с которой нельзя помириться...»

Возможно, философу и должно стать первым, кто совершил «бегство от мира». Но он не оказался единственным одиноким чудачком. За ним последовали другие – великие и выдающиеся, кто хотел бы бросить все, чтобы стать ничем. И дело не в силе изысканной метафоры. Они, действительно, желали бы исчезнуть физически, без следа, намереваясь своим *абсолютным* уходом из этого плотного, сущего мира подчеркнуть необратимость утраты своего «дара

нездешнего». Утраты, как известно, облагораживают натуры милосердные. И всегда остается надежда облагородить если не деяния своих современников, то хотя бы память потомков.

Ну, о том, что отзовется в памяти потомков, трудно судить даже тем, кто идет впереди. Но современники... каким образом можно облагородить дела и мысли их, племени самого подручного, идущего в ногу со временем? Они что, церемонятся с теми, кто путается под ногами? Или великодушны с теми, кто их обгоняет? Один из тех, кто их обгоняет, предлагал распознавать истинный гений по тому верному признаку, что «все тупоголовые соединяются в борьбе против него» (Дж. Свифт). Причем их ненависть к идущему впереди «прогресса ради», сравнивала лишь с их алчностью в преследовании сиюминутных интересов... «О времена, о нравы!» – восклицал Марк Туллий Цицерон (106 – 43 до н. э.), бичуя свой развращенный век. Уже эти, пост-античные времена, казались просвещенному современнику упадком морали и гибелью милосердия. (Как будто и не было чаши с цикутой, выпитой Сократом)...

Франческо Петрарка (1304–1374) грешил на свое время – позднее Средневековье – со всеми «прелестями» борьбы с инакомыслием и казнью на костре за идеологические уклоны и отступления, – но не оставлял надежду на века *иные*, когда свет разума станет путеводной звездой даже для общества большинства. «Время, в которое я жил, – признается он в «Старческих письмах» (Италия, 1374 г.), – было мне всегда так не по душе, что я всегда желал бы быть рожденным в любой другой век, и чтобы забыть этот, постоянно старался жить душою в иных веках...»

Великий персидский поэт Джами (1414–1492) помнил и о казни Сократа, и о тех бедствиях духа, которые принесло крушение античного мира. Что же сулили новые времена? Вот как он отзывался о времени, в котором жил:

Я попал, словно жертва греховных затей,
В эту затхлую жизнь и томлюсь, как злодей.
Эй, палач! Я в последнем желании волен?
Дай же мне умереть, дай уйти от людей!

Любой другой век оставался в прошлом как еще одна неудачная попытка человечества последовать за путеводной звездой милосердия. Однако свет этой звезды, иногда приглушенный до призрачного мерцания, все же высвечивал силуэты *иных веков*. Хотелось верить, что в них можно жить – и не только душою...

Относительно «иных веков» много надежд подавала эпоха Возрождения. Венцом же Ренессанса можно считать жизнь и творчество великого Микеланджело (1475–1564). Конечно, его современники могли и ошибаться. Но вот свидетельствует уже наш современник: «Микеланджело принужден был жить в эпоху, которую он не мог не презирать, в мире, который не понимал его и которому он был не нужен...» (из книги Б. Бернсона «Живопись итальянского Возрождения», сов. изд. 1967 г.). А сам Микеланджело, раскрывая художественный смысл своей композиции «Ночь» (капелла Медичи: гробницы Лоренцо и Джулиано, Италия, 1524–1526 гг.), высказался, пожалуй, еще решительней, чем его позднейшие биографы:

Отрадней спать, отрадней камнем быть,
О, в этот век, преступный и постыдный,
Не жить, не чувствовать – удел завидный.
Прошу, молчи, не смей меня будить.

«Восстав от сна», не мог простить свой век – утренняя заря эпохи Возрождения! – и Леонардо да Винчи (1452–1519). Современники виделись ему не иначе, как «переработчиками пиццы, наполнителями отхожих мест, потому что с их помощью ничего в мире не происходит;

у них нет никакой доблести, и ничего от них не остается, кроме полных навозных ям». За презрением, граничащим с ненавистью и озлоблением, скрыта драма «лишнего человека», который был призван в этот мир, чтобы изменить его к лучшему. И оказался связанным по рукам и ногам законами «общества большинства» – интересами мировой политики, причудами местных князьков, обстоятельствами своей личной жизни. «Вряд ли Леонардо испытывал большую радость от того, что родился в свою эпоху, – пишет российский историк Дмитрий Петров. – Он был незаконно рожденным сыном не только Пьеро да Винчи, флорентийского нотариуса, но и всего Ренессанса. Красота истины, которой дышат все его работы, была недоступна даже лучшим из современников художника» (из очерка «Гений Леонардо», Россия, 2012 г.).

И Цицерон, и Ф. Петрарка, и Л. да Винчи, и М. Буонарроти со всей силой утонченных чувств и «жизнью души» искали забвения во вневременных сроках и верили, что кто-нибудь, когда-нибудь такое пристанище найдет. Возможно, они испытывали «фантомное наслаждение», когда, по аналогии с фантомной болью, покоя не давала светлая мечта, безжалостно сеченная из века в век. Ведь то, что отнимают, ценится дороже во сто крат, а экзекуторы всех родов и мастей не перестают напоминать, что «добродетели твоей убежища на земле не остается и, доведенну до крайности, не будет тебе покровы от угнетения» (А. Радищев, 1790 г.).

Нет, гуманисты не сидели сложа руки, не предавались бесплодным воздыханиям. Они продолжали верить, бороться и искать. Но к чему действительно приводили их поиски? «Страны, где не царят злодеи, я не нашел», – с горечью констатировал средневековый азербайджанский поэт Хакани (1121–1199).

Все меньше иллюзий оставалось и у философа, писателя и математика Джероламо Кардано (1501–1576). Он видел, как светская власть и церковные соборы уничтожают «цветы милосердия» – и тихой обители для сердца отзывчивого не находил. «Лучше быть дикой серной, чем человеком, – писал он в трактате «О своих книгах» (Франция, 1571 г.). – И те, и другие в постоянной опасности. И те, и другие постоянно рискуют быть убитыми. Но человек живет в гораздо худших условиях, ибо он легче может быть схвачен, подвергается более длительным мучениям и более жестоким пыткам... И есть ли такой уголок на земле, где не принуждали бы делать зло и где царил бы безопасность?» (По поводу стенаний о засилии «злой природы» старый циник Ф. Ницше не без злорадства заметил: «Люди так надоели друг другу, что захотели непременно иметь такой уголок мира, куда человек не приходит со своими терзаниями. Так изобрели «добрую природу»...» – из трактата «Утренняя заря», Германия, 1880 г. До Ницше свое язвительное остроумие демонстрировал Ф. Вольтер: «Когда-нибудь я, быть может, набреду на планету, где царит полная гармония, но пока что мне никто не указал, где такая планета находится...»).

«Каждый человек ищет правды, но одному только Богу ведомо, кто эту правду нашел», – ходил по тому же «кругу» английский моралист лорд Честерфилд (1694–1773).

Трудно судить, насколько огрубел душой французский бытописатель нравов XVIII века Никола Шамфор (1741–1794), но он «страну милосердных» уже не искал, он считал род человеческий «дрянным уже по своей натуре» («Максимы и мысли», Франция, 1794 г.). К такому же неутешительному выводу склонялся и «философ пессимизма» Артур Шопенгауэр (1788–1860): «Наш мир – худший из возможных миров. Если бы в подтверждение этого взгляда я захотел бы привести изречения великих умов всех времен во враждебном оптимизму духе, то цитатам не было бы конца...»

Вот все же несколько цитат – таких же без конца, как и без начала:

• «Ты верным будь, но берегись коварства, // Оно присуще людям искони». «Кому пожаловаться ныне, коль род людской так обезлюдил // Что и подобья человека среди собратий не осталось». «Ты ищешь в мире человечность, но нет ее в людской природе» (поэт Хакани, Азербайджан, XII в.).

- «Разочарован я: порядочных людей // Не вижу наяву, не вижу в сновиденьях» (поэт Джами, Персия, XV в.).
- «Нам врождена некая пагубная любовь стремиться больше к порокам, чем к добродетелям» (философ Л. Валла, Италия, XV в.).
- «Жизнь человека на Земле является не чем иным, как состоянием войны! Он должен поражать ничтожность лодырей, обуздывать нахальство, предупреждать удары врагов...» (философ и богослов Дж. Бруно, Италия, XVI в.).
- «О, жалкое человечество! О, испорченность! Кто бы стал жить среди людей? Кто – писать и творить для такого мира!» (моралист А. Шефтсбери, Англия, XVII–XVIII вв.).
- «Больше нет родины: от одного полюса до другого я вижу только тиранов и рабов» (философ и писатель Д. Дидро, Франция, XVIII в.).
- «Констатация житейских наблюдений И. Канта (XIX в.) откровенна и сурова: «Человек по природе зол»...» (из книги П. Таранова «Философия сорока пяти поколений», Россия, 1999 г.).
- «Предоставленный самому себе, человек всегда шел *лишь по пути беспредельного наде-ния*» (философ П. Чаадаев, Россия, XIX в.).
- «Мир – это госпиталь неизлечимых...» (философ А. Шопенгауэр, Германия, XIX в.).

Именно в философии пессимизма нашли свое место такие классики, как Томас Гоббс (1588–1679) и упомянутый выше Фридрих Ницше (1844–1900). В «войне всех против всех», утверждали они, побеждает не тот, кто окажется ближе к небесам. И даже не тот, кто с них так неосторожно сойдет. Как печальна будет судьба павшего ангела, если он не постигнет силы принуждения «низких начал», если не признает «всепобеждающей квинтэссенции праха!» («Не сила побеждает, а бессилие утомляемости», – так оценивает результат *принуждения безнадееж-ного* современный мыслитель Павел Таранов (Россия, 2000 г.).

Михаил Лермонтов (1814–1841), поднимавшийся, вслед за Пушкиным, «неизмеримо более сильною птицей» (В. Розанов), был таким «непонятливым» бунтарем. Русский мистик-духовидец Даниил Андреев (1906–1959) считал его «посланцем» или «миссионером», ибо «Ангел, несший душу поэта на землю и певший ту песнь, которой потом «заменить не могли ей скучные песни земли», есть не литературный прием, а *факт*». «Можно сказать, – отмечает современный литературовед Г. Иванов, – что Лермонтов – единственный на нашей планете человек, который при рождении слышал пение Ангела и не забыл его потом, а помнил или время от времени вспоминал, а мы все забыли навсегда. Отсюда вообще необыкновенная гениальность поэта, отсюда разрывающие его противоречия и отсюда же его богатырские силы, которые он не знал, куда здесь, на земле, приложить» (из сборника «100 великих писателей», Россия, 2009 г.).

Так избыток сил или их недостаток? Сила, желающая зла, но совершающая добро, или благие намерения, которыми выложена дорога в ад? В общем, образ Демона как опыт страдающей души, разрываемой непримиримыми противоречиями между «струей светлой, задушевной, теплой веры» и гнетущим мраком «низких начал», между «небесностью» художника-творца и «дрянным уже по своей натуре» родом человеческим. Первый, как выражение безмятежно-цельного человека, всегда пребывает в *бевременном состоянии*, когда «здесь» означает «везде», а «сейчас» понимается как «всегда». Следовательно, допустимо предположить, что постижение творческого процесса есть уже вхождение в эти «координаты вечности»:

Но не погибнет в веках талантом добытое имя:
Слава таланта и блеск вечным бессмертьем горят, —

чувствовал магию творчества римский поэт Секст Проперций (ок.49 – ок.15 до н. э.).
Ныне это имя прочно забыто, но забвения избежали имена тех, чьи таланты он славил, относя

всех творящих к *бевременному состоянию*. Роду же людскому, подтверждающему квинтэссенцию праха, присуще *состояние бевремениа*, без ярких мыслей и дел, обессмертвующих свое время, но с положенным пределом для каждого живущего человека. Точнее сказать, это – уходящее время, а значит, время ограничений с планкой предельной высоты полета для каждого. Ведь если вошедший в этот мир, значит смертный, даже несмотря на избыток богатых сил. Михаил Лермонтов, будучи человеком живущим, с этими противоречиями примириться не мог, да и не хотел. В стихотворении с нарочито временной пометой вместо названия «1831-го июня 11 дня» он признается в ошибочности своего рождения:

Как часто силой мысли в краткий час
Я жил века и жизнью иной
И о земле позабывал. Не раз,
Встревоженный печальною мечтой,
Я плакал; но все образы мои,
Предметы мнимой злобы иль любви,
Не походили на существ земных.
О нет! все было ад иль небо в них.

Альтернатива «бытия вообще» становилась альтернативой жизни: или благодать небесная, или ад земной! Не случайно бунт поэта против ограничения временными сроками бытия выражался в богоборческих тенденциях – в холодном и горьком скепсисе, пессимистических раздумьях, кутежах, эпатировании по-обывательски ограниченной публики и оппозиционировании склонным к подавлению инакомыслия властям. Но может быть, в основе своей это был бунт против *овеществленного* мира, мира сформировавшихся форм-ограничений с адресностью рождения и «адаптацией» способностей к нормам общественной жизни...

«Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом! Весело, нечего сказать...» Это уже Александр Пушкин (1799–1837), «инфант террибль» своего времени – неприкаянный, несошедшийся, невыездной... Для урегулирования непростых отношений с властями В. Жуковский, раздраженный не меньше властей, предлагал ему «пожить в желтом доме». Иной же путь не сулил ничего, кроме реакции отторжения: «мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться противу общего порядка!» «В двух случаях Пушкин продолжал бы жить, – комментирует Михаил Зощенко. – Первое – Пушкин отбрасывает политические колебания и, как скажем, Гёте, делается своим человеком при дворе. Второе – Пушкин порывает со двором и идет в оппозицию. Двойственное же положение, в котором находился поэт (кстати сказать, не только по своей воле), привело его к гибели» (из повести «Возвращенная молодость», СССР, 1933 г.).

Кстати, размышляя о диалоге «художник – власть» и видя в нем необходимость «равнодействующего начала», М. Зощенко не случайно вспоминает Иоганна Гёте (1749–1832). Но ведь и этот олимпиец, любимец богов и советник императоров, в трагедии «Торквато Тассо» (Германия, 1790 г.) говорит о своем, сокровенном:

Свободным быть хочу в стихах и мыслях:
В поступках мир довольно ставит мне преград.

«Меня всегда называли баловнем судьбы, – признавался И. Гёте на восьмом десятке лет (январь 1824 г.). – Я и не собираюсь брюзжать по поводу своей участи или сетовать на жизнь... Но если бы я мог ускользнуть от суеты деловой и светской жизни и больше жить в уединении, я был бы счастлив и, как поэт, стал бы значительно плодотворнее... Я благодарю провиденье за то,

что в это насквозь искусственное время я уже не молод. Я бы не знал, как мне здесь жить...» (из книги И. Эккермана «Разговоры с Гёте в последние годы его жизни», Германия, 1836 г.).

И все же, являя пример редкого жизненного успеха, Иоганн Гёте – *выжил*, добившись полного творческого самораскрытия. «В этом смысле Гёте был удачником из удачников, – констатирует российский культуролог Юрий Безелянский. – Крепкое здоровье позволило ему прожить долго. Реализовать практически полностью свой талант. Иметь прижизненную славу, не уступавшую, пожалуй, посмертной. Получить признание коллег. Жить в ладу с властью. Не знать, что такое нужда... Кому, скажите, такое выпадало в жизни?.. Он стоит как бы в стороне от жизненных невзгод, неурядиц и страданий» (из книги «Знаменитые писатели Запада: 55 портретов», Россия, 2008 г.).

Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Николай Гоголь – *не выжили*. Так же, как Т. Чаттертон, Э. Галуа, Н. Миклухо-Маклай, М. Глинка, М. Мусоргский, П. Чайковский, А. Иванов, В. Ван Гог, М. Врубель, В. Хлебников, С. Есенин, В. Маяковский, М. Цветаева, В. Высоцкий. «Этот список можно продолжать до бесконечности: М. Сервантесу пришлось изведать тюрьму. Дж. Байрон умер молодым от лихорадки. П. Шелли утонул молодым. Г. Лорка убит в молодом возрасте. О. Бальзака и Ф. Достоевского постоянно терзали долги... А душевные муки и терзания Льва Толстого?.. Г. Мопассана постигло безумие. А Чехова свела в могилу чахотка. В. Маяковский, С. Есенин, М. Цветаева покончили жизнь самоубийством...» (Ю. Безелянский, 2008 г.).

Такие разные судьбы – и один общий финал. Жизнь, оборванная на взлете или в зените творческого горения. Можно сказать, что их всех убило время, в которое они жили. Но жили-то они в разные времена... Какое-то вечное «темное» время для обладателей «нездешнего дара», – но со всеми признаками времени текущего. Оно исторично, оно прогрессивно и поступательно: здесь имеются Хронология и Периоды, отмеченные Реформами, Революциями или Битвами народов. Однако Артур Шопенгауэр (1788 – 1860), философ-скептик, отрицавший прогресс человечества, видел все те же театральные подмостки, ту же драму в калейдоскопе сменяющихся лиц: «Все о чем повествует история, это в сущности только тяжелый, долгий и смутный кошмар человечества...»

Да что Шопенгауэр! Еще древние, в лице философа и писателя Луция Аннея Сенеки (ок. 4 до н. э. – 65 н. э.), верно подмечали, что «каждый упрекает свое столетие в таких пороках, как пренебрежение добрыми правами и все прочее, однако это свойства людей, а не времени: ни один век от вины не свободен» (из «Писем к Луциллию», Рим, ок. 60 г. н. э.).

Сальвадор Дали (1904–1989) света в конце тоннеля также не видел и в «Дневнике одного гения» (Испания, 1964 г.), высказался с позиций безнадежного пессимиста: «Если в наше время, которое едва ли не с полным правом можно назвать эпохой пигмеев, неслыханно скандальный факт существования гениев не заставляет избивать нас, словно бешеных собак, камнями или обрекать на мучительную голодную смерть, то за это можно возблагодарить лишь одного Господа Бога».

Так почему же Оноре де Бальзак (1799 – 1850), долгие годы остававшийся «чернорабочим от журналистики», вслед за возвышенным Петраркой верил в предназначенность таланта и видел, прозревал сквозь века, луч ускользающей надежды? В предисловии к своему роману «Чиновники» (Франция, 1836 г.) он писал о вероятности «обратного» хода событий: «Богатство так легко обходится без славы, что и слава, надо надеяться, научится, в конце концов, обходиться без богатства».

Это предположение не лишено оснований. Во-первых, общество большинства, действительно, устроено так, что богатство и слава здесь пребывают на разных полюсах, но ни один закон старой морали не откажет в славе гордой безродной бедности. Не потому ли в пантеоне избранных так много представителей совсем не знатного родства, чье благосостояние зиждется только на результатах их трудов:

«От благородства происхождения, от знатности и высокого положения родителей, имеющих средства, чтобы воспитать на них своего сына, от блестящего и славного Отечества, действительно, много зависит при достижении выдающегося положения, знатности и громкого имени у людей. Если же кто не обладает ни одним из указанных преимуществ, напротив, совершенно лишен их и, однако, при всех трудностях и препятствиях может создать себе известность и обратить на себя внимание тех, которые о нем слышат; если он может снискать себе славу во всем мире и стать известным настолько, чтобы сделаться предметом рассказов о нем совершенно особого рода, то тогда как же не удивляться такой личности, которая при своих самобытных необычайных дарованиях совершает такие великие дела и обладает независимостью речи, которая не должна вызывать к себе столь легкомысленного отношения?» (Ориген Адамантий, 2–3 вв. н. э., греческий философ.).

«Утешает мысль о грядущих поколениях: иногда подлинные почести, неожиданные, не подготовленные интригой, поднимаются на чердаки к беднякам, как Лафонтен, Жан-Жак Руссо, Прудон...» (А. Стендаль «Люди, о которых говорят», Франция, 1829 г.).

А есть еще и «во-вторых». Там, у истоков творчества, еще в действительной жизни, далекой от совершенств чистой морали, художник-творец черпает не только непобедимую стойкость и художественную чуткость, но и *силу таланта*, дающую ему и вдохновение, и незримую власть. Власть мысли, которая может обойтись без власти кошелька. Которая может обойти все препятствия и победить нужду. Ибо талант – не деньги, это то «малое, но существенное», что не имеет товарной цены! Он не эквивалентен вещи, которую можно выставить на аукцион. Здесь не срабатывают законы рыночных отношений (оценивается не произведение, а его автор), здесь не приемлем кодекс высокого родства – «благородства происхождения, знатности, высокого положения и славного Отечества», да, да, и «славного Отечества», в чьем табели уже оставлено место для очередного государственного мужа из «когорты избранных». Действует система многолетнего исправного уложения, где все предопределено, но и она дает сбой в силу непредусмотренных причин («разве сиятельный граф умеет творить?»). Приходится признать правоту еретика Вольтера: «Ни в каком возрасте нельзя приобрести талант, которого мы лишены...» Но талант не отыщется и там, где вообще нет никаких лишений, кроме... отсутствия таланта! «Таланты – не дворянство, чтобы передаваться от поколения к поколению», – отмечает непредсказуемость природного дара философ Дени Дидро (1713–1784). Нельзя приказать как высочайшее соизволение: «Произвести на свет оригинальную и нетрадиционную идею!» Еще труднее исполнить приказ такие идеи не производить. Художник-творец не хочет быть «винтиком» в отлаженном механизме государственного устройства. Чудо-механик, поддерживающий государственный механизм в рабочем состоянии, не может ни обойтись без этой «детали», ни ее заменить. Создается впечатление, что «винтик» работает сам по себе, намного превышая возложенный на него функционал. Казалось бы, в «механизме» есть много куда более важных «деталей», красиво прилаженных и бульших по объему. А вот работа одного уникального «винтика» может застопорить весь ход...

«Что значит аристократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? – нарушает все «табели о рангах» Александр Пушкин (1799–1837). – Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушающего действия типографического снаряда» (из статьи «Путешествие из Москвы в Петербург», Россия, 1835 г.). Мудрость поколений, из коей черпал русский классик, еще более афористична: «Перья стреляют дальше нарезных пушек». К оружию приравнивается и перо писателя, и напечатанная книга его...

Выходит так, что художник-творец может позволить себе что-то больше, чем позволяет его официальный ранг какого-нибудь «коллежского регистратора», ибо за ним стоит сила типографического снаряда. А «действительный тайный советник», даже пользуясь всеми преимуществами высокого чина, так и не добьется контроля над свободой слова и регистрации права

на мысль. Тот, кто в чинах небольших, обойдет все запреты цензуры и, рано или поздно, станет властителем дум.

«Сколько бы ни преследовали произведения, они возрождаются; писатель благодаря множеству изданий вторгается своей мыслью в жизнь», – совсем «по Пушкину» констатирует О.Бальзак (Франция, 1844 г.). Исаак Д'Израэли (1766–1848) даже признавал существование некоего интеллектуального привилегированного сословия, где уже само имя дает повод для почести, достигаемой во всяком случае не талантом соискательства чинов и наград. «Эта почать, – подчеркивает английский литератор, – имеет основанием не рождение, не официальное назначение, а общественное мнение; она нераздельна с именем, как его существенное качество; алмаз блестит, роза благоухает, и без этих качеств не может быть ни алмаза, ни розы» (из трактата «Литературный Характер, или История Гения», Великобритания, 1795 г.).

То «малое, но существенное», что представляет собой сила таланта («благоухание розы»), приводит, однако, к следующим противоречиям:

а) художник-творец формирует общественное мнение в недрах «общества большинства», сохраняя оппозиционность к нему;

б) даже самые воинственные и могущественные из людей не могут игнорировать труды художника-творца и даже заинтересованы в союзе власти и гения, ибо: «богачи и цари, оказывая почет философам, делают честь и им, и себе» (Плутарх, 1–2 вв. н. э.); «если в подобных людях (богачах и царях, с одной стороны, и деятелях науки и культуры, с другой – Е. М.) не достает взаимного уважения, то это значит, что они не заслуживают названия великих» (И. Д'Израэли, 1795 г.);

в) даже признавая значимость научного или художественного произведения, «общество большинства» не всегда готово признать самого художника-творца.

В биографиях великих, сотканных из единства и борьбы противоречивых начал, примечательны случаи, условно говоря, под пунктом «б»: властитель подданных иногда обращается к властителю дум!

«Величайшие венценосцы моего времени, соревнуясь друг с другом, любили и чтити меня, – свидетельствовал поэт Франческо Петрарка (1304–1374). – Благоволением князей и королей и дружбою знатных я был почтен в такой мере, которая даже возбуждала зависть» (из «Письма к потомкам», Италия, 1374 г.). И ведь было же, было чему завидовать, видя такое конфиденциальное отношение к художнику-творцу! Признавая последних «учителям жизни», «путеводителями в высшие духовные сферы», короли, герцоги и другие представители царствующих домов приглашали их в свои владения и просили «погостить здесь подольше».

«Что может быть естественнее, – писал прусский король Фридрих II, обращаясь к Вольтеру (1750 г.), – если два философа, связанные одинаковыми предметами изучения, общностью вкусов и образа мыслей, доставляют себе удовольствие совместной жизни? Я уважаю вас как моего учителя в красноречии и знании; я люблю вас как добродетельного друга...»

Как друга и наставника звала в Россию французского энциклопедиста Жана Д'Аламбера (1717–1783) императрица Екатерина II, призывая его «воспитать наследника русского престола так, чтобы он мог осчастливить миллионы подвластных ему людей». К перспективе союза «князей» и «философов» просвещенный энциклопедист отнесся, однако, скептически и, не отрицая его обоюдных выгод, констатировал: «Первым необходимо образование, вторые нуждаются в покровительстве; те и другие жаждут славы» (из памфлета Ж. Д'Аламбера «Диалог Декарта с королевой Христиной при встрече их на Елисейских полях через 100 лет после смерти первого», Франция, 1750 г.).

Скепсиса станет, вероятно, меньше, если предположить, что обоюдные выгоды от нарождающегося союза превышают потребности удовлетворенного самолюбия. Этот союз может дать князю репутацию «философа на троне», а художнику-творцу, ставшему «другом королей», принести славу «короля ученых».

На примере самых, пожалуй, идеальных союзов – И. Гёте – герцог Веймарский Карл-Август и А. Гумбольдт – король Фридрих-Вильгельм III – можно увидеть, что приобретал, возвышаясь в своем значении, каждый:

«КНЯЗЬ» ПО ЖРЕБИЮ РОЖДЕНИЯ	«ФИЛОСОФ» ПО ВОЛЕ БОГА
<p>«Богато одаренный от природы, прекрасно образованный, тонкий знаток искусства, он стремился окружить себя наиболее выдающимися представителями интеллигенции. Художники встречали в нём авторитетного критика, учёные — энциклопедиста, те и другие блестяще, остроумно, красноречиво собеседника.» (И. Энгельгардт, 1891 г.)</p> <p>«Если Гёте суждено было войти в Веймаре яркою звездой, то молодой герцог Веймарский, Карл-Август, был, без сомнения, весьма недюжинная натура. Стремление к знанию, твердый самостоятельный характер и умение выбирать людей — таковы были характеристические черты этого государя, правившего маленькой, незначительной страной, но умевшего предать этой стране великое значение для всего образованного мира...» (Н. Холодковский, 1891 г.)</p> <p>«Если А. Гумбольдт чурался политики, то политика не хотела оставить в покое А. Гумбольдта. В июле 1808 года ему пришлось оторваться от своих научных занятий, чтобы сопровождать в Париж принца Вильгельма Прусского, который ездил туда для переговоров с Наполеоном. Гумбольдт, пользовавшийся большим значением в парижском обществе, знакомый с влиятельнейшими лицами Франции, должен был, так сказать, готовить почву для принца, что и исполнил с успехом... В 1818 году Гумбольдт был в Ахене, где в то время собирався конгресс для обсуждения французских деп и закрепления принципов священного союза... В 1822 году он отправился в Италию; встретившись в Вероне с королем, сопровождал его в поездке по Италии... Из Италии он вместе с королем отправился в Берлин, где прожил несколько месяцев. Фридрих-Вильгельм III был лично расположен к Гумбольдту, любил его беседу и дорожил его обществом...» (М. Энгельгардт, 1891 г.)</p>	<p>«Старик Гёте был недоволен сближением сына с владетельными особами: «дальше от Юпитера — дальше от Молнии», — говорил он. Но И. Гёте воспользовался приглашением герцога и был им весьма ласково принят. В Веймаре, куда Гёте прибыл 7 ноября 1775 года, он скоро сблизился со всем придворным обществом... тут он прожил большую часть своей жизни и содал свои капитальные произведения... Сближаясь всё более и более с герцогом, Гёте мало-помалу пришел к окончательному решению относительно своей карьеры. Особым указом от 11 июня 1776 года Карл-Август назначил Гёте тайным легационным советником, дал ему место и право голоса в Государственном совете, с содержанием в 1200 талеров в год...» (Н. Холодковский, 1891 г.)</p> <p>«Влияние, которым пользовался А. Гумбольдт, давало ему возможность оказывать поддержку другим учёным — тому, выхлопотать пенсию, другому субсидию на какое-нибудь учёное предприятие или дорожное издание и тому подобное...» (М. Энгельгардт, 1891 г.)</p> <p>«Житейская мудрость не заставила А. Гумбольдта кривить душой и не мешала открыто высказывать свои мнения. Король ценил его знания, ум, блестящую беседу, а он ценил прогрессивную сторону деятельности короля и не хотел конфликтовать с ним, предпочитая своим личным влиянием бороться с влиянием людей, готовых заподозрить в излишнем либерализме самого монарха... Как говорил сам А. Гумбольдт, король предоставлял ему полную свободу действий и уважал его дружбу с лицами, мнения которых не могли нравиться королю... Высокое положение Гумбольдта, впрочем, не пострадало от смерти короля. Новый король Фридрих-Вильгельм IV, сохранил с ним наилучшие отношения...» (М. Энгельгардт, 1891 г.)</p>

Используемые источники: очерк Н. Холодковского «Иоганн-Вольфганг Гёте, его жизнь и литературная деятельность», Россия, 1891 г.; очерк М. Энгельгардта «А. Гумбольдт, его жизнь, путешествия и научная деятельность», Россия, 1891 г.

Разумеется, политические интересы всегда играют самую значительную роль, но они же могут и ограничивать до «регионального влияния» там, где возможности технологической мысли исчерпываются уровнем века действительного. А вот стремление «преодолеть предел обычного человеческого существования» (его Д’Аламбер объяснял «жаждой посмертной славы») имеют литературную специфику, ибо даже самые могущественные правители мира не мыслили успех своих преобразований без того, чтобы не придать своей стране «великое значение для всего образованного мира», без творческого отклика художника-творца. Ведь силой огня и меча можно усмирить старых и подвести под власть скипетра новых подданных. Можно круто изменить их судьбы, заставить поклоняться новым идолам и под страхом смерти забыть старых. Можно внедрить культ Победоносного Имени – и толпы раболебствующих, принужденных силой или обманутых, слепо уверуют в незаменимость, избранность, исключительность «отца нации». Но раб – не сторонник, не единомышленник, не продолжатель правого дела. «Отец нации» рискует оказаться в «пустыне интеллектуального духа», получить «Африку души», когда «один в государстве своем имеет право следовать рассудку, а все другие обязаны следовать повелению, следовать тому, как другой мыслит, а не так, как самому хочется – скучно...» (А. Радишев, 1790 г.). И скучно, и одиноко. Так и путник, оказавшийся в безводной пустыне, испытывает острую потребность в источнике животворной силы... Умирая (1786 г.), тот же Фридрих II обмолвился с грустью безнадежно уставшего человека: «Я устал управлять рабами...» Признал ли он этим, что сила вольтеровских идей оказалась невелика или недоста-

точно велика, чтобы укрепить литературный характер его царствования? Ведь чтобы множить ряды не рабов, а идейных последователей, великий князь должен отражать дух эпохи и, что как раз и делает первый литератор своего времени, примирять с нею. Как долго, однако, можно карать и миловать от одного лица? Что рука, вызывающая слезы, может их и иссушить? Или рука, протягивающая голубя мира, никогда не берется за топор войны? Как обойти этот очевидный парадокс?

Парадокс в том, что именно «великий князь» пытается совместить «литературный» характер своего царствования с реальной политикой государства, рано или поздно сбивающейся на тропу войны. Рано, и едва ли даже поздно, с небес придется спуститься на землю, где так мало места «доброй природе». В этой связи культуролог Игорь Гарин констатирует: «Увы, благие намерения деятелей Просвещения и просвещенных государей, сталкиваясь с реалиями жизни, нередко приводили к плачевным результатам: спровоцированная Руссо французская революция завершилась кровавой резней и приходом Наполеона; Иосиф II умер, надломленный неудачами благородных порывов... а некоторые из «просвещенных» государей просто водили за нос самих просветителей, демонстрируя им «потемкинские деревни» и потемкинские же свободы...» (из книги «Что такое этика, культура, религия?», Россия, 2002 г.).

В «потемкинских деревнях» преуспела, говорят, Екатерина II, получившая однако титул «Северной Семирамиды» от философов эпохи Просвещения. «В этом отношении, – отмечает историк К. Валишевский, – видна резкая разница между первыми годами царствования Екатерины, по которым пробегал освежающий ветерок ее либеральных идей, и последовавшим за ним печальным временем реакции» (из книги «Роман одной императрицы», Франция, 1893 г.). Франциск I, боготворивший Леонардо да Винчи, отказался даже от «потемкинских свобод»: в конце своего правления (40-е годы 16-го века) он перестал покровительствовать радикально мыслящим гуманистам и начал открыто преследовать их. А Павел I и сын его Александр I, преемники русского трона после Екатерины II? Нет, кажется, монархов с более разной судьбой и степенью удачливости на ход государственных дел. Но сколько не свершившихся реформ ознаменовало конец их царствования, сколько светлых надежд «романтика на троне» погибло под спудом самодержавного скипетра! Один был «самым романтическим нашим императором» (А. Пушкин), другой приобрел репутацию мистика. И ведь оба желали только добра...

Политические воззрения прусского короля Фридриха-Вильгельма IV (правил в 1840–1861 годах) носили еще более отчетливо отпечаток мистицизма, ибо естественное отношение короля к народу он ставил выше договорных, видя волю Проведения главенствующей над любым *писаным* законом. Высшая мудрость государственного уложения сводилась, по мысли этого монарха, к «старой, святой верности королю в кругу его вассалов», что, безусловно, вдохновлялось поэтикой средних веков. «Конечно, при таких воззрениях политика его была реакционной, – констатирует популяризатор науки М.А. Энгельгардт. – Но мягкосердечие и слабость характера мешали ему быть последовательным. Признавая себя непогрешимым в теории, он постоянно колебался на практике, уступал, когда требования становились слишком настойчивыми, но, уступив, постоянно возвращался к старому... Неслучайно письма А. Гумбольдта переполнены похвалами личным качествам короля и жалобами на его непоследовательность и противоречия. «Как жаль, что такой монарх пройдет так незаметно в истории!» – замечает он в одном из писем к Р. Бунзену... Политику его он сравнивает с путешествием У. Парри к Северному полюсу: путешественники долгое время двигались по льду на север и в результате совершенно неожиданно для самих себя очутились на несколько градусов к югу, так как лед, по которому они шли, незаметно относилось течением» (из очерка «А. Гумбольдт, его жизнь, путешествия и научная деятельность», Россия, 1891 г.).

Быть может, это трагедия всех просвещенных монархов всех ушедших времен. «Ниже по течению» они оказывались неожиданно, но не случайно. Именно печальное время реакции,

как правило, и предвосхищал «литературный» характер их царствования, начатого с первых, казалось бы плодотворных, идей...

Можно сетовать на «наивно-оптимистическое мировидение Просвещения», можно сокрушаться о непрочности самого «здания разума и прогресса». Так и делала Екатерина II, отвечая на упреки Д. Дидро в противоречии между ее «Наказом» (1767 г.), навеянными идеями Просвещения, и действительным характером царствования, завершившегося захватническими войнами и окончательным закрепощением крестьян. «Я часто и долго беседовала с Дидро, – вспоминала «Северная Семирамида». – Видя, что ни один из его обширных планов не исполняется, он с некоторым разочарованием указал мне на это. Тогда я объяснилась с ним откровенно: «Господин Дидро, я с большим удовольствием выслушала все, что подсказывал вам ваш блестящий ум. Но с вашими великими принципами, которые я очень хорошо себе уясняю, можно писать прекрасные книги, однако не управлять страной. Вы забываете в ваших планах различие нашего положения: вы ведь работаете на бумаге, которая все терпит, которая гибка, гладка и не ставит никаких препятствий ни вашему воображению, ни вашему перу. Между тем как я, несчастная императрица, тружусь для простых смертных, кожа которых чрезвычайно чувствительна и щекотлива...» «Если бы я руководствовалась его соображениями, – резюмировала российская императрица, «несчастливая в своем жребии», – то мне пришлось бы поставить все вверх дном в моей стране: законы, администрацию, политику, финансы, – и заменить все неосуществимыми теориями...» (из «Записок» графа Сегюра, Франция, 1827 г.).

Однако излишне утилитарный характер государственных преобразований (реакция консервативных кругов на рассеяние либеральных идей) чреват другой крайностью, извращающей «литературный» характер царствования до неузнаваемости. Пожалуй, и здесь поучителен пример Екатерины II. «Екатерина оказывала покровительство только официальной науке – другой она в пределах своего государства не допускала, – констатирует К. Валишевский. – Рядом с каждой проблемой философии, истории и даже географии она ставила вопрос государственного порядка и за спиной всякого ученого – политического агента. А от такой стерилизованной науки и нечего было ждать ничего, кроме напыщенной лести и высокопарных нелепостей» (из книги «Роман одной императрицы», Франция, 1893 г.).

Речь даже не о титуле «Северная Семирамида», так нравившемся Екатерине. Даже изысканная лесть в адрес августейшего лица есть следствие проводимой им политики, точнее отклик на ее запросы со стороны всех заинтересованных лиц. Даже непримиримый, казалось бы, критик всегда может найти общую платформу с носителем антагонистических идей, если знать ускользающий из анналов официальной хроники подтекст. На мнимую парадоксальность самой возможности нахождения «общих интересов» указывал, например, французский философ Никола Шамфор (1741–1794). «Примечательно, – пишет он в своих записках «Характеры и анекдоты» (1794 г.), – что у Жана-Батиста Мольера (1622–1673), не щадившего никого на свете, нет ни одного выпада против финансистов. Ходит слух, будто Мольер и другие комедиографы той эпохи получили на этот счет прямые указания Кольбера». Будучи влиятельным министром финансов (Франция, 1665 – 83 гг.), Жан-Батист Кольбер прекрасно сознавал, что интересы государственной политики «всегда были и остаются превыше всего», а услуги «заинтересованных лиц» должны превышать действия агентов ограниченного круга влияния, например, низкопоклонников-льстецов вокруг и вблизи трона какого-нибудь местечкового князька. Мера целесообразности не должна противоречить мере достаточности, а все, что находится за пределами образцовых норм (факт остается фактом: именно «Северная Семирамида» решила установить новый стандарт оценок, что способствовало «стерилизации» науки), должно быть поддержано силой убеждения. Другими словами, ведется поиск таких «политических агентов», которые могут убеждать, воздействуя силой своих способностей, доказывая мощью своего ума...

И вот тогда... тогда скорее будет понято «утилитарное» желание августейшего лица «благодаря перу искусного летописца, увековечить и возвеличить себя и свое правление». Об этом публично говорил французский король Людовик XIV, похлопывая по плечу Жана-Батиста Мольера. Он не открыл ничего нового и, разумеется, ничего нового не завещал:

- Величайшего из античных поэтов, Марона Публия Вергилия (70–19 до н. э.), правитель Римской империи Октавиан Август считал лучшим пропагандистом своей государственной политики. «Вергилий искренне славил империю Августа, восхищался личностью своего покровителя, политическим и культурным расцветом Рима при Августе. С идеями и интересами Августа, отвечающими собственным наклонностям поэта, связаны все его основные произведения... Так, поэма «Энеида» своего рода «социальный заказ империи»... Это не только поэма об основании Рима, но также об исторической миссии, предназначенной ему роком и богами» (из статьи М. Николы «Вергилий», Россия, 2003 г.).

- Будучи главой придворных одописцев, азербайджанский поэт Хакани (1121–1199) не уставал прославлять правителя Ширваны, а когда в 1156 году он получил от него разрешение совершить паломничество в Мекку, то слагал хвалебные касыды всем правителям больших городов, встречавшихся на его пути. Когда же он отправился на службу к самому могущественному властителю Ближнего и Среднего Востока сельджукскому султану Санджару (1157 г.), то был остановлен на полпути правителем небольшого городка Рей (в окрестностях современного Тегерана), который, как все малоизвестные тираны, «желал с помощью панегириков сохранить для истории свое имя». «Почетный плен» в Рее спутал Хакани все планы: за это время султан Санджар был пленен восставшими племенами кочевников, и империя «великих Сельджуков» благополучно развалилась. Не достигнув цели, Хакани вернулся на родину в Шемаху. Ни с чем? Он остался великим поэтом и едва ли лишился практики придворного одописца!

- «Король Пруссии Фридрих II, похоже, испытывал восторженные чувства к Франсуа Вольтеру (1694–1778). Их первая встреча произошла 11 сентября 1740 года в замке Мойланд близ г. Клева. «Если я когда-нибудь прибуду во Францию, – сказал король, – первое, что я спрошу: «Где господин Вольтер?» Ни король, ни двор, ни Париж, ни Версаль, ни женщины, ни развлечения не будут интересовать меня. Только Вы...» (из книги П. Таранова «Философия сорока пяти поколений», Россия, 1999 г.). «Король, победоносно окончивший к концу 1740-х годов две войны и выигравший пять сражений, писал поэту, что теперь его честолюбие состоит в том, чтобы писать свой титул следующим образом: «Фридрих II, Божьей милостью король Пруссии, курфюрст Бранденбургский, обладатель Вольтера и проч»...» (из книги С. Цветкова «Эпизоды истории в привычках, слабостях и пороках великих и знаменитых», Россия, 2011 г.).

Обладатель Вольтера... Важно не имя, важны принципы. Последователи «Короля-солнца» и «Фридриха Великого», искавшие Культ Поведоносного Имени, как-то сами оценили перспективы *союза* художника и власти, что было даже смелее, чем в теоретических рассуждениях Ж. Д'Аламбера о прочности (читай – «порочности») взаимных интересов. Всегда находились «объективные причины» и «особенности исторической эпохи», которые усиливали *взаимное уважение* художника-творца и власть придержащих, чтобы и те, и другие «заслуживали названия великих». Достижению цели как раз и способствуют *общие интересы*:

- «в описываемое время общество не могло обеспечить писателю самостоятельного существования: писатель искал поддержки в покровительстве сильных и благодарил за эту поддержку восхвалением покровителя» (С. Соловьев «История России с древнейших времен», т. 20, Россия, 1870 г.);

- «амбициозной правящей элите нужны «великие люди», которые свидетельствовали бы о величии их времени, – и карликов превращают в гигантов, ничтожеств возводят на пьедестал путем присуждения им при жизни званий классиков, лауреатов и т. д.» (Н. Гончаренко «Гений в искусстве и науке», СССР, 1991 г.).

- Разумеется, можно привести немало доводов в пользу союза художника-творца и принца крови «по жребии рождения» или хотя бы оправдать его сложившимися обстоятельствами. Так ли уж часто художник-творец вообще имеет право выбирать, если не считать альтернативой право на нищету и безвестность?! «В старые времена, – замечает М.А. Энгельгардт, – когда наука была в загоне, ее представителям волей-неволей приходилось ютиться около богатых и знатных меценатов. Астроном составлял гороскопы какой-нибудь владетельной особе, алхимик отыскивал для нее философский камень, доктор составлял эликсиры для поддержания ее здоровья и так далее. Позднее, когда наука приобрела независимое положение, погоня за высокими покровителями стала излишней, но сохранилась в силу «переживания», выражаясь в стремлении ученых обществ и учреждений избирать светлейших, сиятельнейших, превосходительнейших патронов президентами и почетными членами» (из очерка «Чарлз Лайель, его жизнь и научная деятельность», Россия, 1893 г.).

- Именно в силу «переживания» Рене Декарт (1596–1650) занялся переустройством Шведской академии наук и учел пожелания своего высочайшего патрона, королевы Христины, чтобы обсуждение всех научных вопросов проводилось под председательством королевы и она же высказывала окончательное решение по спорным вопросам. «Вот она, чисто королевская задача!» – иронизировал по этому поводу англичанин Мэгеффи, приверженец парламентского стиля правления, как «многие сыны грубого Альбиона». Но отчаянных пересмешников было немного. Декарт, сын противоречивого 17-го века, жил и работал в такую эпоху, когда «король ученых «считался таковым только будучи «другом королей». По логике сопряжения «король – друг ученых» утверждался миф о *просвещенном* монархе: «Особы высокого происхождения не нуждаются в достижении зрелого возраста, чтобы превзойти ученостью и добродетелью прочих людей» (Р. Декарт).

- Отзвуком грядущего века может служить укор Николы Шамфора (1741–1794): «Было бы очень хорошо, если бы люди умели совмещать в себе такие противоположные свойства, как любовь к добродетели и равнодушие к общественному мнению, рвение к труду и равнодушие к славе...» (из записок «Максимы и мысли», Франция, 1794 г.). Однако «переживания» так и не стали пережитком даже *три* столетия спустя. Время как будто остановилось. Придворная дипломатия Рене Декарта по-прежнему современна. Погоня за высокими покровителями, чинами и наградами никогда не покажется излишней, пока имеется Влиятельный Патрон, ставший почетным членом Академии, а у Академика (он же Лауреат и Классик) не будет перспективы достичь положения Влиятельного Патрона.

Вот так в системе необщественного договора порой рождаются герои нашего времени! Согласно этой философии, факт как свидетельство действия считается таковым только после официального признания. Однако официальное признание не есть свидетельство неопровержимости факта. Чтобы скрыть противоречие, довести игру в факты до литературной виртуозности, «князь» и назначает «философа» придворным историографом («графом истории», как простодушно считал камердинер Н.М. Карамзина). Случай не такой уж и редкий. Невозможно как раз обратное: бесстрашные правдолюбцы летописей не пишут и при дворах долго не живут. Вот и Пьетро Аретино (1492–1556), охотно вступивший на службу сильным мира сего, не боялся обвинений в цинизме, когда откровенно писал: «Тем влиятельным особам, кто покупает славу, полагается оплачивать ее по настоящей цене. Цена же эта зависит не от их достоинств, а от доброй воли того, кто ее присуждает, ведь нашим бедным перьям («несчастные» императрицы, «бедные» создатели исторических повестей!.. – *Е.М.*) нелегко подымать с земли имя, словно налитое свинцом за нехваткой доблестей у его обладателя». Историограф выступает здесь как действенный творец исторических событий и даже как лицо, само причастное к ходу истории – «наблюдатель «минут роковых» и собеседник крупнейших исторических деятелей своей эпохи, судья, а не только знаток веков минувших» (Ю. Лотман, 1987 г.).

Очевидно, что на такую роль надобен недюжинный талант, чье перо способно преодолевать «сопротивляемость времени»...

Перо-то, достойное века, всегда найдется, но будет ли век достоин искусного пера? Не правы ли Цицерон, Ф. Петрарка, М. Буонарроти, Дж. Кардано, И. Гёте, А. Пушкин, М. Лермонтов и С. Дали, видевшие в деяниях своего века «гибель милосердия»?

Если достоинства века сомнительны, литераторы с искусным пером (иногда с навыками разбитного подмастерья) поднимают сильных мира сего, как то и засвидетельствовал П. Аретино, «до высоты своего искусства».

Эксперимент, однако, сомнительный. Не отдает ли интеллектуально привилегированное сословие художников-творцов гораздо больше, чем возвращает обратно, оценивая выгоды союза с властью предрержащими? Последние, казалось бы, делают рыцарский жест: «Богачи и цари, оказывая почет философам, делают честь и им, и себе». Но сразу же проглядывает и «обратная сторона медали»: «Философы, заискивая перед богачами, им славы не прибавляют, а вот себя бесчестят» (Плутарх, 1–2 вв. н. э.).

Обесчещенными оказываются те, у кого репутация и честь в общем-то есть, хотя бы вследствие избранного поприща. Ведь если *аристокрация духа* «соединяет в себе понятия о силе и о чем-то избранном и лучшем» (П. Вяземский, 1852 г.), то это – *лучшая сила*. Но эту силу можно растратить по мелочам. Не так ли поступает человек, познавший нужду и отдающий золотник за пару медных грошей? И это не единственное, что можно увидеть на «обратной стороне медали».

Достойно ли большого мастера предлагать оптом и в розницу свой «нездешний дар»? Почему он забывает, что избранность таланта есть столь же случайный посыл судьбы, как и рождение вельможи в продолжение знатного рода? Он ли, служитель муз, истинный владелец сокровища, случайно найденного на перепутье дорог? Или то, что поднято с земли (под ногами – дар небесный), что досталось вперед заслуг (уверенность, что «могу творить!»), обычно ценится невысоко.

«Во весь рост, – констатирует искусствовед Н. Болдырев, – встает проблема внутреннего права пишущего на *силу*, скрытую в том или ином уже наработанном эпохами стилистическом приеме или методе... Все откровеннее литература становится игрой в литературу... Разрыв между реальной личностью пишущего и эстетико-культурной эмблематикой продукта, им создаваемого, становится подчас вопиющим» (из очерка «По лезвию бритвы», Россия, 1994 г.).

Однако почему сокрытие исторической правды (не только нарушение эстетико-культурной эмблематики) так «вопиет»?

«Если можно извинить нищенство, – осуждает конформизм писателя Оноре де Бальзак (1799–1850), – то ничем нельзя оправдать то выспрашивание похвал и статей, которыми занимаются современные авторы. Это тоже нищенство, пауперизм духа (от слова «пауперизм» – массовая нищета. – *Е.М.*)... Ложь и угодничество писак не могут поддержать жизни дрянной книги» (из очерка «Этюд о Бейле», Франция, 1840 г.).

Некоторые деяния «современных авторов» как будто не поддаются влиянию времени, а «дрянная книга» может выйти и из-под талантливой пера. Поднимая с земли имя, налитое свинцом, историограф-летописец роняет не только собственное достоинство, но и «суммарную ценность» созданных им вещей. А поскольку сила слова по-прежнему велика, от этих деяний искажается «суммарная ценность» всего общества. «В тогу гениев, – анализирует психолог Н. Гончаренко, – наряжают прежде всего стоящих у кормила власти и тех, кто первым возвестил миру об их гениальных способностях. Созданные таким образом державные гении уже силой указа делают гениями своих трубадуров. Но от союза двух псевдогениев гений не рождается... При этом дистанция между гением и тем, кого наряжают в его одежды, еще бульшая, чем между актером, выступающим в роли Юлия Цезаря, и реальным прототипом: актер на короткое время воплощается в образ героя, имитирует его действия и высказывает его мысли» (из

книги «Гений в искусстве и науке», СССР, 1991 г.). А что имитирует, какие мысли высказывает псевдогений, рожденный союзом власти временщика и придворного летописца? Нормальной ситуацию не назовешь. Подлинный талант зарывается в землю (там в грязи, он и был когда-то найден), а бриллиант, расцвеченный всеми цветами радуги и ограненный искуснейшими мастерами, оказывается грубой фальшивкой! Здесь нет ни силы, ни изобретательности. Тем более речь не идет о *лучшей силе*...

Порок здесь кроется в меркантильности самого союза: как не высказать «мнения большинства» даже первому литератору своего века, если труд его «будет оплачен по настоящей цене»? Так, назначив Годфриду Лейбницу (1646–1716) пенсию в размере 2000 гульденов, Петр Великий прекрасно сознавал, что обеспечивает себе лучшую рекламу из всех возможных, ибо выбирает ученого, говорившего от лица всей просвещенной Европы: «Покровительство наукам всегда было моей главной целью, только недоставало великого монарха, который достаточно интересовался бы этим делом...» И вот такой великий монарх нашелся... А конфиденциант Екатерины II, барон М. Гримм, писал в 1763 году, имея в виду хвалебные отзывы Ф.Вольтера (1694–1778): «С тех пор, как Ваше Величество осыпали милостями одного из знаменитейших философов Франции, все, кто занимается литературой и кто не считает Европу вполне погибшей, смотрят на себя, как на Ваших подданных». Еще раньше, 23 сентября 1762 года, Вольтер в письме к Д. Дидро сообщал о блестящем начале нового царствования в России: «Франция преследует философов, а скифы покровительствуют им». «Я до такой степени стал уверен в своих пророчествах, – льстил Вольтер Екатерине II в личном письме (1766 г.), – что смело предсказываю теперь Вашему Величеству наивеличайшую славу и наивеличайшее счастье». Когда же Вольтера стали упрекать в чрезмерности его похвал российской императрице, он с деланной наивностью ответил: «Что поделаешь! Я – человек зябкий, а русские дарят мне такие превосходные шубы...»

Не будем замечать лукавства «первого литератора своего века». К *нужному результату* приводили такие милости императрицы, как учреждение пенсионов, раздача ценных подарков, дарение коллекций и библиотек. Чтобы добиться восторженных откликов о политике своих государств к подобным же «средствам убеждения» прибегали и Франциск I, и Карл V, и Иосиф II, и Густав III, и Фридрих II...

Сонмы Влиятельнейших Патронов, подпирающих и одновременно разрушающих основы государственного уложения, доводят политические интересы своей страны до абсурда, когда начинают действовать согласно «закономерности Шамфора»: «Тщеславие светских людей ловко пользуется тщеславием литераторов, которые создали не одну репутацию, тем самым проложив многим людям путь к высоким должностям; начинается все это с легкого ветерка лести, но интриганы искусно подставляют под него паруса своей фортуны» (из трактата Н. Шамфора «Максимы и мысли», Франция, 1794 г.).

«Комплименты всегда служат проводниками при взаимной эксплуатации; часто они служат и платой», – открывает на самую главную из дворцовых «тайн» историк К. Валишевский (1894 г.). Весь вопрос сводится к тому, как эти *комплименты* по достоинству оценить.

«Лесть – это низкопробная монета, – как будто взывает к совести моралист лорд Честерфилд (1694–1773), – но при дворе без нее нельзя обойтись, это карманные деньги для каждого: обычай и общее согласие столь решительно пустили ее в обращение, что люди перестали замечать ее фальшь и на законном основании принимают» (из «Писем к сыну», Великобритания, изд. 1774 г.).

И принимают, и пользуются. Для достижения цели все средства хороши. Когда в 1780 году английский посланник Гаррис готовился к важной встрече с Екатериной II, он решил посоветоваться прежде с фаворитом Григорием Потемкиным. Задача стояла непростая: убедить русскую императрицу принять сторону Англии в ее столкновении с Францией. «Могу вам дать только один совет, – ответил фаворит. – Польстите ей. Ни один комплимент не может

показаться излишним. Это единственное средство добиться от нее чего бы то ни было, но этим от нее можно добиться всего...» На значимость чувств и страстей при принятии ответственных решений еще более откровенно указывал французский посланник при Петербургском дворе (1785–1789 гг.) граф Луи-Филипп де Сегюр: «Если польстить любви Екатерины к славе, то можно совершенно сбить с толку всю ее политику». «Она верила всякой похвале, обращенной к ней, – на ту же «ахиллесову пяту» указывал и историк К. Валишевский (1894 г.). – В этом отношении в ней не было никакого недоверия и никакого ложного стыда».

Да отчего же стыд от чрезмерной похвалы, если «люди перестали замечать ее фальшь»?.. Однако в отношении правительницы полусвета, хитрой и проницательной, такое объяснение благоприятного исхода дел не представляется убедительным. Уникальность «взаимной эксплуатации», пожалуй, только в том, что она может осуществляться на договорной основе или действовать в *союзе*, сложившемся стихийно, но со всеми признаками прочности уз благодаря «сопряжению интересов».

«Взаимная эксплуатация» – это блеск носителя Имени на службе монаршего Двора и блеск монаршего Двора от причастности к нему носителя Имени. Это почет, начинающийся с принуждения, и принуждение, заканчивающееся почетом.

«Счастье литературы до Людовика XIV заключалось в том, что тогда ей не придавали большого значения, – ворчит старый скептик А. Стендаль. – «Держаться верных взглядов на литературные произведения» стало необходимым только в последние годы царствования Людовика XIV, когда литература унаследовала почет, который этот король оказывал Расину и Депрео» (из статьи «О жизненном укладе и его отношении к литературе», Франция, 1823 г.).

Но вместе с почетом литераторы получали и «номенклатурные льготы», ранее положенные только штатным царедворцам, – и становились не только «рабами этикета», но и пленниками собственных амбиций. «Покинуть двор хотя бы на один момент – значит отказаться от него, – пишет Жан Лабрюйер (1645–1696) о страстях гордого ума. – Придворный, бывший там утром, возвращается вечером, чтобы на следующий день снова туда явиться и показать себя» (из трактата «Характеры, или Нравы нашего века», Франция, 1688 г.). Так будет ли разборчив в средствах честолюбивый претендент, чтобы обеспечить себе место под солнцем? Средневековые замки с королевскими поварами и кучерами, камергерские ключи и почетные кресты надо было оправдывать, доказывая неценность своих услуг и незаменимость мастера, их предоставляющего. «Предмет любви» становился больше «любящего сердца», искусство лести заставляло усомниться в искренности чувств.

Видимо, подозревая Ф. Вольтера в расчетливом цинизме (в своих мемуарах тот открыто писал, что «эпитеты нам ничего не стоили»), Фридрих II иногда платил ему той же монетой («обмануть в своих чувствах друга Вольтеру и Фридриху не удавалось никогда», – С. Цветков, 2011 г.). Когда французский философ впервые посетил его резиденцию в Рейнберге (Пруссия, 1750 г.) и пожелал получить дополнительную плату за проезд, король заметил в кругу своих приближенных: «Это слишком дорого для придворного шута». Вскоре шут был уподобен представителю животного мира: «У Вольтера все уловки обезьяны, но я не подам вида, что замечаю это, – он мне нужен для изучения французского стиля. Иногда можно научиться хорошему и от негодяя. Апельсин выдавливают, а корку отбрасывают». Позднее, когда Вольтер появился в разгар званного обеда, нарушив дворцовый этикет, Фридрих II встал из-за стола и написал мелом на камине: «Вольтер – первый осел». Однако немилость длилась недолго. На официальной церемонии, случившейся при дворе, монарх раскланялся перед ним со словами «мой Аполлон»...

«Несмотря на скрытую борьбу и плохо сдерживаемое раздражение, их отношения внешне оставались прекрасными, – констатирует современный историк Сергей Цветков. – Такие люди обмениваются колкостями в лицо и злословят друг о друге за глаза и, наконец, расстаются, раздраженные взаимными упреками... Но дальнейшие отзывы таких людей друг о друге полны

самых высоких оценок добродетелей противной стороны... Их переписка длилась с небольшими перерывами 42 (!) года, до самой смерти Вольтера, и составила многотомное руководство для желающих усовершенствоваться в недостойном искусстве лести» (из книги «Эпизоды истории в привычках, слабостях и пороках великих и знаменитых», Россия, 2011 г.).

Понятно, что судьба заставляла Вольтера «перебегать от одного короля к другому, хотя он боготворил свободу». Но почему так желательны были все эти *жесты примирения* всемогущему императору? Почему при всей «фальшивости чувств» он как будто не осознавал всей ложности своего положения?

С гением, острым на язык и уже ставшим «апостолом мысли», Фридрих II предпочитал не ссориться, помня о тех прецедентах, когда союз художника-творца и принца крови вдруг показывал свою разрушительную мощь:

«Государи приглашали к себе П. Аретино (1492–1556), заискивали перед ним, осыпали его дарами, отчасти ради его похвал, отчасти из страха перед его нападками... Язык его был не менее страшен, чем перо и... вместо благодарности находились слова хлесткие, как удар бича...» (из статьи Г. Мопассана «Аретино», Франция, 1885 г.).

«К 1745 году Вольтер (1694–1778) благодаря острому перу становится настолько известен и популярен как «просвещенный ум», что едва ли не все короли Европы приглашают философа к себе, французский двор начинает заигрывать с ним, его поддерживает фаворитка Людовика XV, всемогущая мадам де Помпадур. Королевский двор обласкивал Вольтера всевозможными знаками внимания... Однако Вольтер не стал бы тем Вольтером, которого мы знаем, если бы позволил себя приручить. Его боевой запал по отношению ко всем государственным установлениям неустанно срабатывал, что вынуждало Вольтера скитаться по Европе» (из очерка Л. Калюжной «Вольтер», сборник «100 великих писателей», Россия, 2009 г.). «Моя должность, – писал Вольтер из Берлина в Париж (1750 г.), – заключается в том, чтобы ничего не делать. Час в день я посвящаю королю, чтобы несколько сглаживать слог его произведений в стихах и прозе...» Он называл стихи короля «грязным бельем, которое отдается ему для стирки...» (из очерка И. Каренина (В. Засулич) «Вольтер, его жизнь и литературная деятельность», Россия, 1893 г.). «Вольтер говорил про «Антимакиавелли» (1740 г.), сочинение короля прусского Фридриха II: «Он плюет на блюдо, чтобы отбить у других охоту к еде...» (из сборника Н. Шамфора «Характеры и анекдоты», Франция, 1794 г.).

«В России произведения Александра Дюма (1802–1870) начали переводиться сразу же после их появления во Франции. Дюма, зная о том, что его пьесы с успехом идут на петербургских сценах, мечтал получить от русского императора орден Святого Станислава (это был один из его «пунктиков» – страсть ко всякого рода знакам отличия). Писатель преподнес Николаю I свою драму «Алхимик» с посвящением, в котором называл царя «блистательным монархом-просветителем». Коронованный просветитель ордена, однако, не дал, решив, что «довольно будет перстня с вензелем». Дюма в долгу не остался и в 1840 году выпустил свой роман «Учитель фехтования, или Восемнадцать месяцев в Санкт-Петербурге» – о конце царствования Александра I, восшествии на престол Николая, декабрьском восстании и сибирских рудниках, куда были сосланы мятежники. Таким образом, Европа узнала о том, что Николай I предпочитал держать от нее в тайне, – о дворянском заговоре и восстании 14 декабря 1825 года, а попутно и о дворцовых интригах, и об убийстве Павла I...». «Учитель фехтования» был запрещен в дореволюционной России и впервые вышел у нас в 1925 году» (из очерка Л. Калюжной «Александр Дюма», сборник «100 великих писателей», Россия, 2009 г.).

Но вернемся к мятежному Вольтеру... Прусский король оказался в затруднительной ситуации: с «властителем дум» он разговаривал не как вседержавный монарх, никогда не позволяющий в общении с подданным ноток интимной интонации, и, чтобы не попадать в досадное положение, стал отсылать на отзыв язвительного острослова все меньше «грязного литературного белья». По логике вещей такие послышки должны были сойти на нет. Карл V,

опасаясь острых стрел П. Аретино, решил наоборот утяжелить полезный груз своих посланий, преследуя, правда, цель совсем иного рода. Однажды он послал Аретино богатое ожерелье, чтобы избежать его насмешек, а тот, небрежно подбрасывая драгоценность на ладони, заметил: «Эта вещица маловата, чтобы покрыть такую большую глупость...» (новая соль на раны, ибо накануне непобедимый король потерпел военное поражение)... «Если его ублажали недостаточно быстро, – комментирует Г. Мопассан, – или подарки, по его мнению, были слишком ничтожны, – он отсылал их обратно» (из статьи «Аретино», Франция, 1885 г.). Злые языки даже шептались, что пером Аретино «говорила сама ложь». Но кто мог бы оценить все последствия, если б оно говорило только правду?..

«О. Кромвель испугался, увидав «Океанию» Дж. Харрингтона (1611–1677), и боялся воздействия этой книги более, чем заговоров роялистов; Карл I трепетал при одном только имени этого писателя, и под влиянием страха и к чести гения было решено, что «писать – значит действовать»...» (И. Д'Израэли «Литературный Характер, или История Гения» Великобритания, 1795 г.). «Современники утверждают, что выход в свет первого сочинения Ж.-Ж. Руссо (1712–1778) «Рассуждение о науках и искусстве» (1749 г.) произвел некоторое подобие революции... В своем новом произведении – «Общественный договор (1762 г.) он провозгласил право народов на восстание против несправедливого тиранического режима и установление республиканской формы правления. За 27 лет до штурма Бастилии Руссо отчетливо сформулировал священное право народов – свергать тиранов» (Т. Грудкина, сборник «100 великих мастеров прозы», Россия, 2009 г.). Что значит «действовать пером», понимала и Екатерина II. Литератор Александр Радищев (1749–1802), издавший в 1790 году «Путешествие из Петербурга в Москву», казался ей «бунтовщиком опаснее Пугачева».

«Речь идет о торжестве *магической риторики*, – рассуждает о жребии мастера слова наш современник, «архивариус» Александр Секацкий, – о временной (на сто лет) реставрации неодолимой силы вещего слова ... определившей саму эпоху Просвещения... В рамках данного феномена оказывается и трепет «просвещенных монархов» перед Вольтером, и бессилие элиты, всех этих принцев и герцогов, зачарованно взирающих, как *отточенная мысль* рубит сук, на котором они сидят, рубит многовековой ствол аристократии крови» (из очерка «Шамфор: судьба литератора», Россия, 2000 г.).

Если уж монаршие благодеяния направлены на то, чтобы «притупить отточенную мысль», то с первого литератора своего века надо снять хотя бы обвинение в одностороннем привнесении в этот союз изрядной доли расчетливого цинизма...

Творческая жилка – ведь деньги зарабатывают прославленные своим «даром нездешним» – обеспечивает художнику-творцу «чистый бизнес», что влияет и на философию успеха, в которой доллары, фунты стерлингов или рубли рассматриваются как средство для максимального самовыражения, раскрытия всей полноты и гармонии жизни. Во всяком случае, так утверждают сами богатые и знаменитые:

- «Когда у Софии Лорен появились деньги, она бросилась покупать сказочные наряды и меха, потом она обзавелась «кадиллаком» голубого цвета. «Так, на мой взгляд, должна была жить кинозвезда, – с улыбкой вспоминает о том времени актриса. – Тот, кто вышел из бедноты, далеко не сразу осознает, что богатством не следует кичиться...» (из сборника И. Мусского «100 великих кумиров XX века», Россия, 2007 г.).

- «Я ценю комфорт... я люблю быть в окружении людей преуспевающих, с широкими взглядами и интересами. Если проводить время с узколобыми, значит, сам такой...» (А. Шварценеггер).

- «Деньги – не главное в жизни, – говорил Брюс Ли, – но ты чувствуешь себя намного лучше, когда они у тебя есть». После ряда удачных картин Брюс Ли купил роскошный дом в престижном квартале Коулун Тонг (Гонконг), «мерседес» с откидным верхом (он также заказал «роллс-ройс» с золотой именной табличкой)... «Иногда ему хотелось удостовериться, что он

и есть тот самый Брюс Ли, о котором все вокруг говорят, – рассказывает Андре Морган из «Голден Харвест». – Он выходил на улицу, и со всех сторон доносились восхищенные возгласы: «Брюс Ли! Брюс Ли!» На его лице играла довольная улыбка...» (из сборника И. Мусского «100 великих кумиров XX века», Россия, 2007 г.).

• «Денег у меня много, а времени, чтобы их тратить, все меньше. Я пою и наслаждаюсь той энергией, которую при этом получаю... Моя мечта – дожить до двухсот лет...» (Х. Иглесиас).

• «Деньги посыпались на меня, как из сломанного игрового автомата... Я подумал: теперь все будет как в сказке, жизнь станет как одна счастливая улыбка, ведь мне не придется каждый день бороться за кусок хлеба...» (С. Сталлоне).

• «В 1980-х годах искусство Э. Уорхола слишком коммерциализировалось. Он не возражал: «Я начал свою жизнь как коммерческий художник, иллюстратор, и я хочу ее закончить как художник-бизнесмен». Уорхол охотно превращал свое имя в популярную торговую марку... После смерти художника (1987 г.) газета «Нью-Йорк таймс» писала: «Лучшее произведение Уорхола – это сам Уорхол...» (из сборника И. Мусского «100 великих кумиров XX века», Россия, 2007 г.).

Достигнув материального благополучия, недавние обитатели кварталов бедноты стремились распорядиться своим достатком как респектабельные буржуа, для которых роскошь становится необходимым атрибутом их жизни. Открывающиеся возможности ограничивались только их фантазией, а у талантливого художника-творца она, как известно, не имеет границ. Крупные банковские счета позволяли теперь реализовывать когда-то несбывшиеся детские мечты, юношеские идеалы, самые фантастические представления человека ограниченных финансовых возможностей о людях, достигших успеха, славы и преуспевания. В новую пору своей жизни они:

• покупали имение, в котором когда-то работали мальчишкой у помещика (И. Поддубный), «дом мечты», загаданный во владение еще в ранней юности (Ч. Диккенс) или «замок мечты» всей жизни (Э. Пресли, М. Джексон, Л. Оливье, С. Лорен, Д. Дассен, Мадонна и др.);

• как новоявленные рыцари, сэры и графы становились хозяевами экзотических замков, часто построенных по собственным проектам (А.Дюма, Рафаэль, Б. Челлини, П. Пикассо, С. Дали, Фаринелли, Г. Гендель, Э. Карузо, Гораций, У.Томсон, Д.-Ж. Ларрей, Ж.-М. Шарко, М. Твен, Дж. Лондон, С. Моэм, Р. Валентино, Ф. Синатра, Э. Пресли, Э.Тейлор, А. Челентано, Ш. Стоун, М. Джаггер, Э. Джон, А.Делон, М. Джексон, Б. Борг и др.);

• приобретали роскошные «кадиллаки», «мерседесы» или «роллс-ройсы» (П. Пикассо, Ч. Чаплин, С. Дали, Ф. Синатра, С. Лорен, Э. Тейлор, М. Джаггер, Э. Пресли, Э. Джон, А. Шварценеггер, Б. Ли, М. Джордан и др.);

• заводили коллекции картин и антиквариата (Х. ван Рейбрандт, Г. Гендель, Н. Паганини, Э. Карузо, С. Дали, Ф.Синатра, Г. Гарбо, Э. Тэйлор, П. О'Тул, К. Денев, А. Делон, Дж. Николсон, Р. Нуреев, Ф. Меркьюри, Э.Джон, М. Джексон, Мадонна и др.);

• организовывали фирмы видео- и грамзаписи, кинокомпании (Ф. Дуглас, М. Пикфорд, Ч. Чаплин, Ф. Синатра, Пеле, Р. де Ниро, А.Делон, Б. Ли, Э. Пресли, А. Челентано, Ф. Меркьюри, Э. Джон, А. Шварценеггер, Ж. Депардьё);

• обзаводились личными яхтами, самолетами и вертолетами (Г. Мопассан, У. Томсон, Ф. Синатра, П. Ньюмен, Х. Форд, Р. Марчиано, А. Шварценеггер, Б. Дэли, Е. Кафельников и др.);

• становились владельцами островов и побережий с пляжами (Р. Нуреев, Д. Дассен, М. Брандо, Х. Иглесиас, А. Шварценеггер);

• открывали аптечный (Л. Кранах Старший, Пеле), парфюмерный (К. Денев, М. Барышников, А. Делон, Э. Тейлор), модельный (Пеле, Ф. Синатра, Р. Нуреев, С. Лорен, А. Делон, А. Шварценеггер, Э. Джон, Ш. Стоун, К. Льюис, М. Джордан), рекламный (Э. Уорхол, Ф. Синатра, Б. Бардо, Пеле, М. Али, М. Барышников, Э. Пресли, Х. Иглесиас, Д. Копперфилд, М. Спитц, Д. Марадонна, М. Джексон, М. Джордан, У. Гретцки, К. Льюис, Б. Борг, и др.), ресторанный (Б.

Уиллис, А. Шварценеггер, С. Сталлоне, М. Али, С. Бубка, Р. Де Ниро) винодельческий (Дж. Лондон, Ж. Депардьё, П. Ришар) бизнес.

Как предприниматели иные художники-творцы разворачивались, пожалуй, еще шире, чем на своей творческой стезе. Во всяком случае, на новом поприще они демонстрировали самые неожиданные качества своего таланта. Риск, пьянящее чувство азарта – то неизбежное в атмосфере свободного предпринимательства, чего, быть может, им не доставало в творческих поисках, – теперь подталкивали *ищущих и находящих* свое место в жизни бросить вызов судьбе, всем мыслимым и немыслимым преградам, встречающимся на «пути к триумфу».

«Я хочу владеть миром, – не скрывает своих амбиций «самая деловая женщина Америки» Мадонна (р. 1959 г.). – Всякий раз, когда я достигаю новой вершины, перед моими глазами уже маячит другая, на которую я должна взобраться. И так без конца. Возможно, я должна успокоиться и удовлетвориться достигнутым, но я так не могу. Я должна идти дальше. Почему? Не знаю. Знаю только, что должна это сделать».

Как режет ухо это «я *должна!*»! Что, срабатывает принцип «каждый миллионер мечтает стать миллиардером»? Справедливо ли с нашей стороны подозревать, что главным мотивом здесь остается меркантильный интерес, испокон веков скрепляющий союз художника и власти? Даже крупнейшие деятели современного шоу-бизнеса (до конца ли искренни они?) называют своим главным стимулом к деятельности – творчество, которое само по себе нельзя приобрести ни за какие деньги:

- «Чтобы выглядеть элегантно, необязательно носить драгоценности и меха. Любая женщина должна постичь тайн простоты. Я пришла к заключению, что главная цель моды – элегантность и стиль, под элегантностью же я понимаю классические традиции красоты и изящества, неподвластные времени» (С. Лорен).

- «Деньги важны для меня только в той степени, в какой они определяют мою свободу. Я могу хоть завтра отправиться в Сенегал, чтобы порыбачить в открытом море. Но мои запросы не так уж велики. Ни дворцы, ни яхты мне не нужны. Единственная роскошь, которую я могу себе позволить, – взять хороших музыкантов для записи песни» (Джо Дассен).

- «Деньги не очень важны для меня. Если у человека денег нет, ему кажется, что они значат все на свете. У меня нет ни яхт, ни драгоценностей. Роскошь для меня – иметь больше свободного времени...» (Д. Копперфилд).

- «Деньги всегда оставались для меня на втором плане, что, возможно, было одним из самых серьезных моих заблуждений. И иногда я думаю, что дал футболу все же больше, чем получил. Не потому, что я тщеславен, честно говоря, роль знаменосца не для меня. Конечно, титулы грели душу, но я их не эксплуатировал. Никогда не козырял ими, чтобы добиться благ больших, чем мне полагалось, никогда не давил при подписании контрактов. Опять же повторюсь, футбол – дело коллективное, и не следует выпячивать свои достоинства. Пусть их оценят другие...» (А. ди Стефано).

- «Деньги осложняют жизнь хорошего актера. Нет ничего более идиотского, чем измерять успех кучей долларов. Я вырос в бедной семье, но чувствовал себя свободным, хотя и попадал в разные переделки... Я чувствовал себя не в своей тарелке, став вдруг знаменитым. Слишком резок был переход от безвестности к триумфу. Мир распахнул мне свои объятия, когда я еще был во вражде с ним... Сейчас я, кажется, вновь обрел свободу, и доллары к этому не имеют никакого отношения» (А. Пачино).

- «В декабре 2000 года сэр Энтони Хопкинс заявил о своем намерении покинуть шоу-бизнес («выйти из луча прожектора», как он выразился). Во всем мире это вызвало шок. «Я оглядываюсь назад и вижу пустыню... Боже мой... 35 лет из 60-ти – на что я их потратил? И что от меня останется? Парочка хороших фильмов, несколько плохих... Какого черта я все это делал?!» – сокрушался Хопкинс» (из сборника И. Мусского «100 великих актеров», Россия, 2008 г.).

«Срыв» Энтони Хопкинса по-человечески объясним. «Большие художники служили своему искусству бескорыстно и довольно редко рассматривали его как способ разбогатеть» – констатирует В. Петрушин в монографии «Психология и педагогика художественного творчества» (Россия, 2006 г.). А для философов, писателей и представителей науки шоу-бизнес неприемлем вообще в силу специфики их творческой деятельности (иначе неизбежен вопрос к самому себе: «Какого черта я все это делал?!»), и как раз у них, в среде служителей высокого искусства, бытует представление, что настоящий талант «должен жить без излишеств». Не убивают ли сверхгонимые само творчество? Не способствуют ли контакты с сильными мира сего моральному вырождению художника-творца? Несет ли он ответственность за «фальшивые ноты» своей музыки? Каким образом деятельность «первого литератора своего времени» влияет на моральное здоровье всей нации?.. Вечные вопросы, неразрешимые проблемы, «проклятые» противоречия... Нет, их не обходили молчанием. Обозначали недуги и прописывали курсы лечения. Увы, мудрость даже самых прозорливых не могла побороть саму болезнь...

Ж. Д'Аламбер предвидел, что в идеальном государстве, в этой мирной обители, «ни князьям, ни философам нечего желать и нечего ждать друг от друга; это в порядке вещей» (Франция, 1750 г.). В идеальном государстве – да. Однако какую эпоху можно считать свободной от противоречий, мздоимства, лжи и вероломства, можно охарактеризовать как торжество гуманизма? Слишком много крови и насилия приносят великие государственные преобразования. Оправдана ли их цена, если даже великие царства обращаются в тлен, а историю человечества движут великие властители дум, которые с порога отвергают договорные кодексы придворной морали, которые продолжают верить в «добрую природу» и «первозданный смысл» и которые, вопреки всем политическим системам, вопреки здравому смыслу общества большинства, принуждающего признать «всепобеждающую квинтэссенцию праха», такую природу и такую «страну милосердных» создают! Сквозь плотный туман они видят великую цель, маяком освещающую их тернистый путь к истине. Их мужество, несгибаемая воля, готовность к самопожертвованию – поразительны. Это истинный подвиг, который совершается не «для», а «во имя», ибо никакие стимулы не подводят к сподвижничеству так непоколебимо, как власть *идеи*.

Когда в мае 1870 года королева Виктория намеревалась возвести Чарльза Диккенса (1812–1870) в дворянское достоинство, писатель ответил отказом. «Вы, вероятно, уже читали о том, что я собираюсь стать всем, чем королева может меня сделать, – предполагал он в письме к Г. Расдену (20 мая 1870 г.). – Если мои слова хоть что-нибудь да значат, поверьте, я не собираюсь становиться ничем, кроме того, что я есть, – до конца дней своих...» Нет, Диккенс не хотел нарушить этикет и этим обидеть кого-то из сильных мира сего. За *три недели* до своей кончины он как чуткий художник-творец с особенной силой прозревал координаты вечности, где «слава таланта и блеск вечным бессмертием горят»!

Узнав о своем награждении орденом Почетного легиона (Франция, июнь 1870 г.), художник Гюстав Курбе (1819–1877) отправил в Министерство Наполеона III действительно неподдельный отклик: «Я никогда не принадлежал никакой школе, никакой церкви, никакому учреждению, никакой академии, и главное, никакому режиму, исключая режим свободы... Не следует ничего принимать от злополучной администрации, как будто специального задавшейся целью убить искусство в нашей стране... К тому же человек – это не титул и не орденская лента, человек – это его поступки и побуждения...» (знакомое, очень знакомое слышится в этих словах, когда мы узнаем об отказе А. Солженицына от ордена «Святого апостола Андрея Первозванного» (Россия, 1998 г.): «От верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния, я принять награду не могу...»). Дарители, разумеется, понимали, что нарушается не только «дворцовый этикет».

В ознаменование научных заслуг, способствовавших техническому прогрессу во всем мире, тогдашний первый министр Великобритании Роберт Пиль предлагал государственную

пенсию физику Майклу Фарадею (1791–1867) и титул баронета изобретателю паровоза Джорджу Стефенсону (1781–1848). Оба ответили отказом, мотивируя свои решения тем, что «еще в состоянии заработать себе на жизнь, опираясь на собственные силы». Так же думал и естествоиспытатель Чарльз Лайель (1797–1875), решительно отказавшийся от места члена английского Парламента в пользу интересов науки. «Слава Богу, кажется, мне не придется иметь дело с политикой! – не сомневался он в правильности своего выбора. – Если вы хотите долго прожить и много наработать, пуще всего избегайте политической суеты... Я давно уже перестал заниматься общественными делами; нам, поставившим своей задачей разработку науки, незачем в них путаться...»

Бернард Шоу (1856–1950) отвергал любые почести, оказанные в «заслугу за старость» (он отказался от денег, предложенных ему как лауреату Нобелевской премии, 1925 г.), и со свойственной ему парадоксальностью придерживался того взгляда, что «титулы придуманы для тех людей, чьи заслуги перед страной бесспорны, но самой стране неизвестны». Действительно, что есть Имя, если его нельзя приравнять к Титулу? Но тогда зачем Титул, когда есть *такое* Имя?! («Человек – это не титул и не орденская лента, человек – это его поступки и побуждения»). Иногда говорят, почти всегда – *после*, что рядом с нами жил Человек-эпоха, который это время и творит. А комплимент «он шел в ногу со временем и пользовался всеми его благами» хорош только для среднестатистического представителя «общества большинства».

Отказ от привилегий, составляющих основу жизненного благополучия, удивителен уже в силу противоречия «естеству вещей». «Тела и души людей такого склада, – отмечал французский философ и историк Ипполит Тэн (1828–1893), – как будто созданы из гранита и мрамора, тогда как наши нынешние просто из мела и штукатурки».

Находясь в иной «системе координат», художник-творец и мыслит парадоксально, и создает как-то иначе – в глубине кулис мировых событий, не оглушенный напором сиюминутных новостей, но с врожденным осознанием значимости каждой уходящей минуты. Может быть поэтому планка его устремлений как нигде и никогда высока – почти недостижима. В этой «недостижимости» он остается творцом завтрашнего дня, твердо зная, что день этот станет настоящим. И «прошлое» для него тоже в «сегодня» с наложением вето на успешность обиходных, практических дел. Что делать, «философ» редко сочетается с «практиком»! Дар мучительный, но неискоренимый, этот талант жертвенной не обустроенной жизни! Он же создает творческий парадокс: «Чем хуже жизнь, тем лучше стихи». Высшая же степень одаренности художника-творца свидетельствует, как правило, о «подлинном и полном уходе из мира действительного в мир мысли и мечты».

Остаются, правда, надежды на государя-реформатора, стоящего на степени высшей, степени «философа на троне», с коей может он «подействовать непосредственно на жребий государства и заготовить себе место в истории народа» (П. Вяземский, 1821 г.). «Как *простые* люди государи и князья должны понимать свое время, должны поставить себя на высоту своего века своим всеобъемлющим просвещением, своею непоколебимой правдою, – с энтузиазмом видел «строгую правду закона гражданского» русский поэт-романтик Василий Жуковский (1783–1852). – Как *представители народа* они должны жить его жизнью, т. е. уважать его историю, хранить то, что создали для него века, и не *самовластно*, а следуя указаниям необходимости, изменять то, что эти же творческие века изменили и что уже само собою стоять не может...» (из письма от 28 октября 1842 г.).

Примечательно, что *высота своего века*, определяемая «всеобъемлющим просвещением», задана как эталон еще философской мыслью античного мира. Это и «Диалоги» Платона (IV в. до н. э.), и «Лекции о политике» Аристотеля (IV в. до н. э.), и «Речи о царской власти» Диона Хрисостома (II в. н. э.) – и т. д. и т. п. Современные философы с готовностью признают, что древние мудрецы «говорили дело» и старой полемики о желательности иметь

просвещенных правителей – уже не затевают. «Если монарх ведет разумную политику, если он справедлив и честен, если прислушивается к словам и советам умнейших и достойнейших людей, – констатирует российский историк Владимир Миронов (р. 1940 г.), – то такой человек, монарх или президент, в самом деле большая находка и удача для великого государства» (из книги «Древнеримская цивилизация», Россия, 2010 г.).

Насколько оправданы *такие* ожидания? Был ли прав китайский философ Конфуций (551–479 гг. до н. э.), посетовавший перед смертью, что не нашлось ни одного умного правителя, который захотел бы стать его учеником?

• «Никогда еще Рим не был так могуч, как при принцепсе Марке Ульпии Траяне (правил в 98—117 гг.). Это был пик имперской славы. Границы Рима расширились необычайно. Простота обхождения привлекала к Траяну всех – от солдат и сенаторов до интеллектуалов. Став императором, он тем не менее ходил по Риму пешком, хотя другие прицепсы восседали в паланкине. В итоге те, как бы боясь равенства, теряли способность пользоваться своими ногами... Траян пришел к власти мирным путем, что было редким явлением для Рима. Он повел себя с людьми доброжелательно, «как отец с детьми»: считался с народом, сенаторами, был своим человеком и для воинов. Все его признавали, ибо император совсем не кичился властью, но всех считал «равными и себя таким же равным всем другим». Интересно взглянуть и на то, что выделяет историк Плиний-Младший среди заслуг правителя как его главные достижения... Для великого принцепса, коему суждено бессмертие, «нет другой, более достойной статьи расхода, как расход на подрастающее поколение...» При Траяне политика поддержки молодежи приняла устойчивый характер. Император «обеспечил их содержание», создал условия и для воспроизводства населения... Другой немалой заслугой императора стала забота о сельском хозяйстве. Он способствовал увеличению хлебных запасов государства, не подавлял людей новыми налогами. «Отсюда богатство, дешевизна, позволяющая легко сговориться продавцу с покупателем, отсюда всеобщее довольство и незнакомство с нуждой»... Чрезвычайно важным успехом стал триумф законности при Траяне. Ранее суды и властные лица творили все, что хотели. Произвол процветал «и в храмах, и на форуме». Любое достояние находилось под угрозой. По словам Плиния, Траян «выкорчевал это внутреннее зло и предусмотрительной строгостью обеспечил, чтобы государство, построенное на законности, не оказалось совращенным с пути законов»... Траян решился сделать то, что до него никто в Риме не делал: создал трибунал и «для правителей». Теперь могли быть посажены, говоря современным языком, и судьи, и прокуроры, чины милиции, и премьеры, ибо «никому не прощается его вина, за каждую полагается возмездие»...

Самое последнее, на что обратил внимание Плиний в его панегирике императору Траяну, так это на его отношение к ученым и учителям. Уже тогда у мудрейших представителей Рима выработалось понимание значимости этих ключевых фигур общественного прогресса... Траян поднял роль наук. Возможно, показательным моментом в его отношении к высшему разуму стало приближение к себе Диона Хрисостома (ок. 40—120 гг. н. э.), греческого оратора и философа из Прусы (Вифиния)... Талантливые государи умели с максимальной пользой для нужд страны использовать знания. Такой талант был у Траяна. Полагаю, во многом способность слушать великие умы и сделала из него великого императора... (из книги В. Миронова «Древнеримская цивилизация», Россия, 2010 г.).

• «Публий Элий Адриан (правил в 117–138) родился в Риме. Отец Публия был из рода Элиев (двоюродный брат Траяна). Юноша, поступив в школу, завершил обучение ранее обычных сроков – в 16 лет. Затем уехал в Афины, где занимался под руководством известного софиста Изея. Он был человеком безусловно талантливым... «Адриан в совершенстве усвоил научные занятия, образ жизни, язык и все образование афинян, – отмечал его биограф. – Он обладал способностями ко всем видам искусств. Столь изящную и блестящую натуру нелегко найти между людьми. Его память была невероятно обширна». При необходимости он мог про-

честь любой стих, на шутку отреагировать шуткой или быстро парировать остроу. Ведь еще в молодости он познакомился с крупнейшими писателями того времени (Тацит, Плутарх, Квинтилиан, Ювенал). Аврелий Виктор писал о нем: «Он отлично знал греческую литературу, и многие называли его Греком. Он воспринял от афинян их наклонности и нравы и не только овладел их языком, но и приобщился к их излюбленным занятиям: пению, танцам, медицине, был музыкантом, геометром, художником, ваятелем из меди и мрамора наравне с Поликлетом и Евфранором». ...Вскоре он поменял судейское кресло на службу в армии. Здоровая и требующая немалой выносливости атмосфера военного лагеря пошла ему на пользу... В битвах с воинственными даками Адриан проявил чудеса храбрости. К тому же его отличало прекрасное знание стратегии и тактики... В него поверили воины. В конце концов, они-то и сделали его императором.

Став императором, Адриан окружил себя умными учеными и литераторами – историк Светоний стал его секретарем, философ Эпиктет – его другом. В Риме он учредил институт Атенеум, где устраивали состязания поэты, выступали и читали лекции риторы и философы. И сенат Рима даже иногда назначал там свои заседания. Римские сенаторы хотели стать умнее и понимали, сколь важен дух наук... Адриан даже заставил чиновников учиться, что было делом неслыханным... Никто так не покровительствовал искусству, как он. Реставрация памятников культуры выходит в деятельности Адриана на первый план. В окрестностях Рима, в Тибуре (современный Тиволи) он выстроил себе величественную виллу, где воспроизвел все стили, воссоздал уголки разных стран (своего рода древний «Диснейленд»), и даже выстроил там «подземное царство». Он был храбр, разумен, щедр. В Галлии на него бросился раб, он уклонился от удара. Преступника схватили, но он сказал, что тот, видимо, болен, и распорядился отдать его не палачам, а врачу.

Адриан проявлял щедрость и благородство в политике, в том числе и в отношении простого люда. Он как мог заботился о плебсе, сжег на форуме долговые расписки, запретил забирать в личную казну имущество осужденных, отменил долги граждан императорской казне в 900 миллионов сестерциев... Он ценил и уважал человека, терпеть не мог пышности и блестящих свит, был справедлив и прост... Адриан был мудрым политиком и потому, что предпочел покончить с войной, смирившись с тем, что Парфия и Армения вновь обрели независимость. Пусть основой новой внешней политики страны станет вооруженный мир...

На каменной плите из форума Траяна имеется надпись в честь деяний Адриана, где сказано: сенат и римский народ выражают признательность Адриану. О нем у римлян сохранилась добрая память...» (из книги В. Миронова «Древнеримская цивилизация», Россия, 2010 г.).

«Если некто захотел бы выбрать пример для подражания, вероятно, им скорее всего мог бы стать Марк Аврелий. Императором он стал в 161 г. То было время, когда Римская империя достигла наибольших размеров...» (из книги В. Миронова «Древнеримская цивилизация», Россия, 2010 г.). «Один из римских историков пишет о глубокой грусти, охватившей Марка Аврелия после его усыновления Антонином Пием (римский император в 136–161 г. г. – *Е.М.*), предназначавшим его к власти вместе с другим пасынком, Луцием Вером. Этому сообщению веришь, когда смотришь на бюсты Марка Аврелия: одухотворенное раздумьями лицо, запущенная борода, утомленные чтением глаза... Этому человеку не могло быть знакомо властолюбие. Его царствование напоминало те далекие времена, когда боги и титаны сходили на землю, чтобы вызволить людей из полуживотного существования, дать им законы и обучить ремеслам и искусствам. Марк Аврелий был воплощением человечности, лучшим из людей, как сказал бы Платон. Его ум обнимал все отрасли управления огромной империей, душа была свободна от порочных наклонностей предыдущих и последующих цезарей, тело не знало наслаждений и отдыха...» (из книги С.Цветкова «Эпизоды истории в привычках, слабостях и пороках великих и знаменитых», Россия, 2011 г.). «Он не посещал публичных школ, имея счастливую возможность пользоваться услугами прекрасных учителей на дому; знал Гомера, Гесиода, Софокла,

Еврипида, Аристофана. У знаменитых ораторов учился риторике. В жизни привык довольствоваться малым... Более всего на свете он любил находиться в обществе ученых и философов, а вечера коротал наедине с любимой книгой «Беседы Эпиктета». Император-философ был последователем Эпиктета (50—140 гг. н. э.)... Зная, что время человеческой жизни – миг, а сущность ее – вечное течение, он понимал и то, что дух нужно возвращать, чтобы победить в жизненной борьбе. Но ради чего? Ради власти? Нет, – во имя истины. Поэтому призывал сохранять ум, простоту, добропорядочность, серьезность, скромность, приверженность к справедливости, честность, благочестие, благожелательность, любвиобилие, твердость в исполнении надлежащего дела. «Употреби все усилия на то, чтобы остаться таким, каким тебя желала сделать философия», – писал он... Рим представлялся ему как государство с равным для всех законом, которое управляется согласно законам равенства и равноправия...» (из книги В. Миронова «Древнеримская цивилизация», Россия, 2010 г.). «К народу Марк Аврелий обращался так, как это было принято в свободном государстве, – говорит римский историк. – Он проявлял исключительный такт во всех случаях, когда нужно было либо удержать людей от зла, либо побудить их к добру, богато наградить одних, оправдать, высказав снисходительность, других. Он делал дурных людей хорошими, а хороших – превосходными, спокойно перенося даже насмешки некоторых... Отличаясь твердостью, он в то же время был совестлив». Он был первым и единственным из цезарей, кто возвратил свободу – народу и бывшее значение – сенату. «Справедливее мне следовать советам стольких опытных друзей, – говорил он своим приближенным, – нежели стольким опытным друзьям повиноваться воле одного человека». Патрицианская спесь внушала ему отвращение, он признавал только аристократию добродетели и заслуг перед родиной... Его собственные триумфы вызывали в нем лишь отвращение и презрение; цезарь и стоик вели в его душе войну не менее упорную и разрушительную. Когда сенат поднес ему титул «победителя сарматов», он записал в своих «Размышлениях»: «Паук гордится тем, что поймал муху...» (из книги С. Цветкова «Эпизоды истории в привычках, слабостях и пороках великих и знаменитых», Россия, 2011 г.). «У Марка Аврелия было сердце республиканца под тогой цезаря. Видимо, так надо понимать предостережение: «Не иди по стопам Цезарей». Империя обрела в его лице не только философа на троне, но что важнее, нужнее для государства, – правителя научно-прагматического склада, обладающего к тому же высоким интеллектуальным уровнем...» (из книги В. Миронова «Древнеримская цивилизация», Россия, 2010 г.). «Гражданское право, принципы ответственности государя перед законом и заботы государства о гражданах, полиция нравов, регистрация новорожденных – ведут свое начало от Марка Аврелия... Марк Аврелий не вынес ни одного смертного приговора и уничтожил практику конфискаций... Он желал не просто повиновения закону, но улучшения душ и смягчения нравов. Все слабое и незащищенное находилось под его покровительством. Рабство было признано юстицией нарушением естественного права, убийство раба стало преступлением, а его освобождение поощрялось государством... Государство взяло на себя попечение о больных и увечных. Применение пытки было ограничено, в уголовное право было введено положение о том, что виновность заключается в воле человека, а не в самом факте преступления... Он часто цитировал Платона: «Государства процветали бы, если бы философы были властителями или властители – философами»... Время полустерло деяния его царствования, но целиком сохранило книгу его «Размышлений» – слепок этой великой души, – словно для того, чтобы мы мерили ее не поступками цезаря, а мыслями философа...» (из книги С. Цветкова «Эпизоды истории в привычках, слабостях и пороках великих и знаменитых», Россия, 2011 г.).

• «Правитель Флоренции Лоренцо Великолепный (Лоренцо Медичи правил в 1469–1492 гг. – *Е.М.*) был одновременно великим государем, счастливым и привлекательным человеком. Он властвовал, в большей мере пользуясь хитростью, нежели принижая чрезмерно достоинство своего народа; как умному человеку, ему были противны пошлые царедворцы, которых

в качестве монарха он должен был награждать... Равновесие сил придумано им; он охранял, насколько возможно, независимость мелких итальянских государств...» (из книги А. Стендаля «История живописи в Италии», Франция, 1818 г.). «Польза отечества, величие семейства, возрастание искусств» – вот три принципа, которыми руководствовался во всех делах правитель Флоренции, никогда не отделяя одного от другого...» (из статьи И. Бузукашвили «Лоренцо Великолепный», Россия, 2012 г.). «Лоренцо Великолепный не только украсил Флоренцию, но и укрепил ее могущество. В городе почти не было нищих, а о немощных горожанах заботилось государство. Лоренцо вошел в историю как мудрый политик и дипломат...» (из монографии «100 человек, которые изменили ход истории: Леонардо да Винчи», российск. изд. 2008 г.). «Он пользуется абсолютной властью в делах политики, но правит Флоренцией, проявляя здравый смысл, учтивость и достоинство. Без официального титула и званий. Это богатейший во всем мире человек, дружбы и расположения которого добиваются правители итальянских городов-государств и могущественные монархи Востока и Запада, а между тем у него открытый и мягкий характер и полное отсутствие высокомерия. Не располагая ни армией, ни стражей, он ходит по улицам Флоренции без всякой свиты, разговаривает со всеми гражданами как равный, ведет простую семейную жизнь, любит играть со своими детьми и держит свой дом открытым для художников, писателей и ученых со всего мира...» (из статьи И. Бузукашвили «Лоренцо Великолепный», Россия, 2012 г.). «Он был истинным сыном Ренессанса. Он писал стихи, любил сочинения Платона, коллекционировал шедевры, увлекался архитектурой...» (из монографии «100 человек, которые изменили ход истории: Леонардо да Винчи», российск. изд., 2008 г.). «Современник пишет: «Кто ныне в Италии и вне ее хочет что-нибудь построить – спешит обратиться во Флоренцию за архитекторами». Лоренцо слышет знатоком классических языков, читает в оригинале греческие и латинские манускрипты. Его посланники отправляются на Восток, где разыскивают и привозят во Флоренцию древние рукописи, свитки и книги. В истории Лоренцо Великолепный останется и как создатель первой в Европе публичной библиотеки. Его собрание насчитывало около 10 тысяч рукописных и печатных книг. Подобной библиотеки не было нигде со времен Александрии. Она и по сей день носит его имя – Библиотека Лауренциана – и находится при соборе Сан Лоренцо» (из статьи И. Бузукашвили «Лоренцо Великолепный», Россия, 2012 г.). «В период правления Лоренцо Великолепного культура Флоренции достигла небывалого расцвета...» (из монографии «100 человек, которые изменили ход истории: Леонардо да Винчи», российск. изд., 2008 г.). «Унаследовав от своих предков склонность покровительствовать искусствам, Лоренцо Великолепный живо чувствовал красоту во всех ее формах и по влечению сердца делал то, что предки его делали по соображениям политики... Его стихи обнаруживают в нем высокую душу, знавшую, что такое любовь, и любившую Бога, как любят любовницу, – сочетание, допускаемое природой лишь в тех душах, которые предназначаются ею для людей гениальных. Он имел обыкновение говорить: «Кто не верит в будущую жизнь, мертв уже в нынешней». В одинаково пламенном стиле он то слагал гимн творцу, то обожествлял предмет своих любовных восторгов. Превосходя по своим государственным способностям Августа и Людовика XIV, он покровительствовал изящной словесности как человек, который предназначен был занять в ней одно из первых мест, если бы самим своим рождением не был уже предназначен руководить Италией...» (из книги А. Стендаля «История живописи в Италии», Франция, 1818 г.). «Искусство в глазах Лоренцо является куда более важной заботой, чем его флотилии, плавающие по всем морям мира, и его банки, опутавшие своей сетью всю Европу... Правитель Флоренции привил своим гражданам, и в первую очередь богатым жителям города, любовь к прекрасному, к античности, хороший вкус и стремление наполнить жизнь произведениями истинного искусства... XV столетие – эпоха кватроченто, золотой век итальянского Ренессанса. Время, когда в одном городе на берегах Арно собирается целое созвездие гениев. Все они – современники Лоренцо Великолепного. В жизни многих из них правитель Флоренции сыграл роль, назначенную самой

судьбой...» (из статьи И. Бузукашвили «Лоренцо Великолепный», Россия, 2012 г.). «Судьба его вознаградила: у него на глазах родились или созрели великие художники, прославившие его страну: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Андреа дель Сарто, Фра Бартоломео, Даниэле да Вольтерра» (из книги А. Стендаля «История живописи в Италии», Франция, 1818 г.). «...В своем внимании к людям искусства и их творчеству Лоренцо Великолепный открыл столь много самых разных форм поддержки художников и архитекторов, что впору говорить о настоящей и хорошо продуманной политике в сфере искусства» (из статьи И. Бузукашвили «Лоренцо Великолепный», Россия, 2012 г.).

- «Миланский герцог Лодовико Моро видел, какой славы достигли Медичи во Флоренции, покровительствуя искусствам. Ничто так не скрывает деспотизма, как слава. Он пригласил всех знаменитых людей, каких только мог найти. Он их собрал, по его словам, чтобы дать воспитание племяннику. Этот человек в непрерывных празднествах искал себе отдыха от коварной политики, которую он всегда вел. Особенно любил он музыку и лиру, инструмент, славящийся у древних... Говорят, что Леонардо да Винчи (1452–1519) в первый раз появился при миланском дворе на каком-то публичном состязании лучших в Италии мастеров игры на лире... Сам двор для одаренного человека представлял еще привлекательность, которую теперь утратил... Так я объясняю склонность изящного Леонардо к обществу коронованных особ...» (из книги А. Стендаля «История живописи в Италии», Франция, 1818 г.). «Лодовико восхищался не только пением, но и звуками речей Лернардо. Когда да Винчи декламировал стихи, на глазах герцога часто показывались слезы, и он говорил: «Мне казалось, что вы все еще продолжали петь»... К такому человеку попал Леонардо и вскоре стал для Лодовико необходимым товарищем... Есть основания думать, что великий художник пытался даже направить эту развращенную натуру на лучший путь, стараясь главным образом действовать на артистические наклонности герцога» (из очерка М. Филиппова «Леонардо да Винчи как художник, ученый и философ», Россия, 1892 г.). «Леонардо да Винчи было 30 лет, когда он появился при этом блестящем дворе; покинул он Миланскую область только после падения Лодовико, спустя 17 лет...» (из книги А. Стендаля «История живописи в Италии», Франция, 1818 г.).

- «Единственный сын шотландской королевы Марии Стюарт Яков I вывел страну из религиозно-политического кризиса и обеспечил длительный период мира и стабильности. Яков был необычайно просвещенным монархом, владел латынью и греческим, сочинял стихи, написал книгу наставлений сыну и трактат по демонологии... В 1603 году шотландский король Яков VI вступил на английский престол как Яков I. С его правлением связан расцвет культуры и искусства, начавшийся при предшественнице Елизавете I. Яков I присвоил труппе Уильяма Шекспира (1564–1616) статус королевской и обеспечил ее членам специальные привилегии. В период царствования Якова I Шекспир сочинил эпохальные трагедии – «Макбета» (1606 г.), «Отелло» (1604 г.) и «Короля Лира» (1605 г.)» (из монографии «100 человек, которые изменили ход истории: Уильям Шекспир», российск. изд., 2008 г.).

- «Ландсграф Гессенский меньше всего походил на диктатора-самодура, неспособного понять устремления ищущего музыканта. Наоборот, Генриху Шютцу (1588–1672) исключительно повезло. Его покровитель был одним из самых просвещенных и художественно одаренных людей своего века в Германии, олицетворявшим своей деятельностью лучшее, что связывается с ренессансным гуманизмом. Он был известен глубоким знанием эллинской и латинской культуры, сам переводил древнегреческие трагедии и комедии на родной язык, создал первый в Германии постоянный театр, пригласив для него лучшую труппу английских актеров. Он был также композитором, сочинял музыку под руководством главы своей капеллы Георга Отто. Ему он и поручил музыкальное воспитание юного подопечного. При этом музыка, занимавшая большое место в образовании Шютца, нисколько не оттесняла на второй план другие предметы...» (из сборника Д. Самина «100 великих музыкантов», Россия, 1999 г.).

- «Шведская королева Христина была очень деятельна, спала не более 5 часов в сутки... любила серьезный разговор. Обладая прекрасной памятью, Христина говорила на 6 языках, в том числе на латинском, и ежедневно прочитывала в подлиннике по нескольку страниц из Тацита. Незадолго до своего знакомства с Рене Декартом (1596–1650) она начала изучать еще и греческий. Несмотря на свою молодость она в отношениях к людям была замкнута, недоверчива, но в действиях энергична и стремительна. Такую же стремительность Христина проявила в отношении к Декарту. Философ несколько месяцев (1649 г.) ждал обещанного ему собственноручного письма от Христины, как вдруг вслед за полученным наконец письмом посыпались одно за другим три письма от Шаню (посланник при Шведском дворе. – Е.М.) с настойчивым приглашением от имени королевы приехать в Швецию, так как королева пожелала поучаться философии из его собственных уст... В октябре 1649 года философ прибыл в Стокгольм. Христина приняла его с почетом... и приступила к занятиям...» (из очерка Г. Паперна «Рене Декарт, его жизнь и философская деятельность», Россия, 1895 г.). «Королева Христина была настоящим спартанцем. Она спала по 3 часа в сутки, сама вела всю государственную дипломатию даже во время Тридцатилетней войны (1618–1648 гг.)... Каждое утро Декарт должен был являться к королеве и в течение 5 (!) часов вести с ней беседы о страстях души» (из книги Н. Носова «Преступные философы», Россия, 2007 г.).

- «Дед Фридриха II, Фридрих I, в 1701 году добавил к своему титулу курфюрста Бранденбургского титул короля Прусского. Соперничая с Австрией и Саксонией за влияние на германские княжества, он хорошо понимал значение не только военного, но и культурного превосходства и потому, как мог, подражал роскоши Версальского двора. Кое-что перепало также наукам и искусствам: в Берлине была основана Академия наук, душой которой стал Готфрид Лейбниц (1646–1716). В конце концов Фридрих I добился того, что его столицу стали называть «германскими Афинами»...» (из книги С. Цветкова «Эпизоды истории в привычках, слабостях и пороках великих и знаменитых», Россия, 2011 г.).

- «Австрийская императрица Мария Терезия хотела превратить Вену в европейскую столицу изящных искусств, и потому в годы ее правления (1740–1780 гг.) этот город стал настоящим раем для многих деятелей культуры. Покровительство кого-нибудь из династии Габсбургов, а особенно самой Марии Терезии, гарантировало безбедную жизнь и открывало путь к европейской славе. Зная об этом, Моцарт-старший делал все возможное для того, чтобы представить своей сына императрице... В эпоху Марии Терезии в Вене жили и работали И. Гайдн (1732–1809), В. Моцарт (1756–1791) и Л. Бетховен (1770–1827). При дворе Марии Терезии были собраны также лучшие архитекторы, скульпторы, живописцы, драматурги и поэты. Так Вена превратилась в настоящую культурную столицу Европы. Эта слава сохранилась за этим городом вплоть до 20-го века...» (из монографии «100 человек, которые изменили ход истории: Вольфганг Моцарт», российск. изд., 2008 г.).

- «После того как в 1741 году умер его отец Франц I, Иосиф II был коронован как император Священной Римской империи и правил Австрией вместе со своей матерью Марией Терезией. Иосиф, подобно своей матери, был сторонником «просвещенного абсолютизма». Он развивал народное образование, готовил отмену крепостного права и предоставление личной свободы крестьянам, ввел принцип полного равенства всех перед законом... Иосиф II, «музыкальный король», покровитель и ценитель искусств, поддерживал Вольфганга Моцарта (1756–1791) больше, чем кто-либо другой. В 1787 году монарх предложил ему долгожданное место придворного композитора...» (из монографии «100 человек, которые изменили ход истории: Вольфганг Моцарт», российск. изд., 2008 г.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.